

# ДАЛИЯ ТРУСКИНОВСКАЯ

Проза  
Русского  
Севера



Вологодские  
заговорщики

Проза Русского Севера

Даля Трускиновская

**Вологодские заговорщики**

«ВЕЧЕ»



**Трускиновская Д. М.**

Вологодские заговорщики / Д. М. Трускиновская — «ВЕЧЕ»,  
— (Проза Русского Севера)

ISBN 978-5-4484-8025-6

В Московском царстве великая Смута, гибнут люди, в Кремле заперлись польские паны, первое ополчение оказалось бессильно против захватчиков. А в Вологде, куда убежали многие богатые купцы, зреет заговор в пользу английских коммерсантов, которые хотят нажиться на чужой беде. И не только нажиться, а посадить на русский трон своего кандидата. Догадываясь, что там творится неладное, князь Пожарский посылает в Вологду надежного человека – разобраться, какие козни строит купечество и что за секреты хранит тамошний Канатный двор. И первая задача – раздобыть послание, которое московские князья и бояре тайно отправили английскому королю...

ISBN 978-5-4484-8025-6

© Трускиновская Д. М.  
© ВЕЧЕ

## Содержание

Пролог	5
Глава 1	8
Глава 2	16
Глава 3	27
Глава 4	35
Глава 5	45
Конец ознакомительного фрагмента.	54

# Далия Трускиновская

## Вологодские заговорщики

### Пролог

– Деньги, деньги, деньги... – Его величество вздохнул. – Каждый день только одно и слышу – деньги, деньги, деньги... Что скажешь, сэр Роберт?

Король сидел за письменным столом в расстегнутом лиловом дублете, ослабив тугие подвязки, только что не в спущенных чулках изысканного жемчужно-серого цвета, принимая своего любимого министра по-свойски, по-приятельски, без церемоний.

На королевском столе стояли серебряные кубки, кувшинчик с гипокрасом<sup>1</sup>, блюдо с бисквитами – суховатыми, которые так хороши, если чуточку размочить в вине. Стопки бумаг сдвинуты в сторону. Король был искренне рад старому другу и хотел, чтобы их беседа была приправлена лакомствами.

Министр сидел напротив на раскладном табурете, стараясь держаться как можно более прямо. Он все еще немного стеснялся горба и хромоты. Немного выручал широкий короткий плащ. Его темный дублет был застегнут на все пуговицы. Модные короткие штаны-буфы с прорезями и чулки – черные.

Сэр Роберт Сесил был болен и догадывался, что жить ему недолго. Он в последнее время сильно похудел, можно сказать – отощал, и на осунувшемся лице прежними остались лишь выразительные темные глаза, а ноги... Ноги стали, как две трости, и когда слуга помогал туго натягивать чулки, сэр Роберт только вздыхал. Ему ведь еще и пятидесяти не было, король моложе всего на три года – а бодр, статен и чувствует себя порой юным искателем приключений.

Вот ведь говорит о делах – а пальцы играют с двумя довольно крупными изумрудными сережками. Надо полагать, когда министр откланяется, в кабинет войдет фаворит и получит эти изумруды в дар. Рыжий красавчик, бывший конюх, серьги ему, несомненно, будут к лицу... но как же от него избавиться?..

Министр вздохнул – не этот фаворит, так другой, и умирать нельзя – тогда красавчики совсем обнаглеют, и долгой жизни не суждено...

Но поговорить сэр Роберт хотел вовсе не о фаворите, на которого король тратит огромные деньги, а о вещах более серьезных.

– Рад бы обрадовать ваше величество чем-то таким, что не связано с деньгами. Но не получается. – Горбун усмехнулся. – Ко мне приходили наши коммерсанты. Слава Господу, не все сразу, лишь трое. И они сильно обеспокоены.

– Все еще сражаются с тобой из-за твоих таможенных нововведений?

– С этим они, кажется, смирились.

– Ну так чего же им нужно?

– Они сильно обеспокоены судьбой польского принца, ваше величество.

Король расхохотался.

– Значит, не деньги, а политика? Это что-то новенькое!

– Это деньги, ваше величество. Речь шла о «Московской компании». Что сейчас происходит там, у московитов, понять невозможно – сведения доставляются с большим опозданием. Но мои коммерсанты в подробностях не нуждаются.

---

<sup>1</sup> Гипокрас – алкогольный напиток из вина, сильно подслащенного медом или сахаром и приправленного «королевскими», то есть благородными, пряностями (корицей, имбирем, гвоздикой и др.).

– Так, значит, сегодня ты не станешь толковать о своем замечательном «Великом контракте»?

– Боюсь, что я поспешил с «Великим контрактом», ваше величество. – Сэр Роберт Сесил вздохнул. – Палата общин его попросту не поняла. Она почему-то вдруг принялась защищать давние королевские prerogatives. О том, что выплачивать вашему величеству ежегодную точно определенную субсидию из поступлений от земельного налога – гораздо удобнее, эти господа и слышать не желают.

– Я же обещал тебе, что проучу их. До сих пор я был небрежен, когда речь шла о платежах королю по его давнему праву. Сейчас я им эти платежи еще и увеличу! Пей гипокрас, мой друг. Это хорошее гасконское вино, в нем и корицы, и имбиря, и перца, и гвоздики, и меда – всего в меру, и мой гипокрас выстаивался добрых два дня. Мой доктор считает его средством от всех болезней, кроме пустого кошелька. Твое здоровье, друг.

Это было сказано не ради пустой любезности. Король не раз убеждался в преданности министра – еще при покойной королеве сэр Роберт, бывший тогда членом Коронного совета и Государственным секретарем, вступил с Иаковом Шотландским в тайную переписку. Почти сразу они поняли, что имеют одну цель – не допустить в случае смерти королевы (а смерть не за горами) беспорядков и обеспечить спокойную передачу власти наследнику. За это сэр Роберт Сесил получил в 1603 году, когда Яков Шотландский стал также и Английским, титул барона Эссиндена, потом прибавились и другие. А в ноябре 1605 года он при помощи лорда Монтгила раскрыл заговор – если бы заговорщикам повезло, половина Лондона от пороха, спрятанного в подвале под зданием парламента, взлетела бы на воздух, и король отправился бы прямиком на небеса.

Король и его министр сделали по несколько глотков гипокраса.

– Отменно, – похвалил сэр Роберт.

Домашние, зная про болезнь, пичкали его вонючими и горькими микстурами, ароматный гипокрас стал роскошью.

– Так что ты хотел сказать про польского принца? Уж не тот ли он, про кого писал нам из Московии еще Томас Смит? Он еще пошутил тогда, что это стоило бы представить на сцене – вышла бы комедия не хуже, чем у Плавта или Теренция.

– Нет, тот давно погиб. И, если бы знать, сколько бед принесет его авантюра, следовало бы заранее подослать к нему надежного человека с пузырьком подходящего средства. Тот был доподлинным самозванцем, выдавшим себя за московского принца, который якобы чудом спасся от убийц. Но он привел в Московию поляков. И вот теперь от этих поляков наши коммерсанты ожидают себе большой беды. После смерти самозванца москвиты выбрали себе нового царя, потом с ним не ладили, отправили его в монастырь, потом...

– Выбрали себе царя... – повторил Иаков. – Да что у них там – Афины времен Перикла?

– Я буду краток. Поляки – в Москве, польский король убедил москвитов избрать царем своего сына, принца Владислава. Если это дело они доведут до конца, вся московская торговля с Францией и прочими странами потечет через Польшу. А наша «Московская компания», которая уже полвека шлет корабли в северный порт москвитов, город в честь некого архангела, останется не у дел. Плавание долгое, опасное, путь по суше выйдет короче, тем более что поляки могут предложить свои порты на Балтийском море. И наши коммерсанты сильно обеспокоены.

– Сколько себя помню, «Московская компания» процветала...

– Не все у нее шло гладко... Московию открыли нидерландские купцы и сильно не хотели уступать нам свою добычу. Так что имелись убытки. Но мы были нужны русскому царю – он тогда собирался воевать с Ливонией и брать ее под свою руку. Он хотел достойного союза, был готов жениться на нашей королеве или хоть на ее племяннице. А нашим коммерсантам хоте-

лось сбывать английские товары москвитам и открывать для короны новые земли на севере. Они и теперь готовы служить вашему величеству. Но польский принц...

– Я понял... Сэр Роберт, потолкуй с теми, кто бывал на севере Московии, кто бывал в столице, кто завел там важные знакомства. Это важное дело, когда добудешь побольше сведений...

Король посмотрел в глаза министру, министр едва заметно кивнул.

– И я понял, ваше величество.

Мысль зародилась у обоих одна и та же.

– Сейчас их у тебя еще нет, но дня через три-четыре будут. Разберись, что к чему.

– Там творится непонятное. Поляки москвитам надоели, все мечтают выгнать их из Москвы, кто это делает – предсказать невозможно.

– Но желают все?

– Так я понял. Война и разлад не могут длиться слишком долго. А у них там разлад начался много лет назад. К тому же неурожай, голод... Думаю, он уже настолько всем надоел, что давние противники готовы объединиться и покончить с безобразиями.

– Объединиться... Ты хорошо сказал. Сдается мне, это будет для твоих коммерсантов очень выгодное дело. Хотя сперва им придется немного раскошелиться.

– Зато они получат ценный приз. И ваше величество – также.

– Московское царство? Погоди, что-то я об этом уже слышал, – сказал король. – Дай вспомнить...

– Ваше величество имеет в виду план немца Штадена, который он пытался навязать всем – и германскому императору, и шведскому королю. В конце концов он подумал, что Англии сделать это будет удобнее, чем всем прочим.

– Но это было довольно давно...

– Да, ваше величество, в то время Московское царство было сильнее, чем теперь. Я читал записки Штадена – тридцать лет назад он полагал, что для захвата и удержания Московского царства потребуются всего лишь две сотни кораблей с провиантом, две сотни полевых орудий и сто тысяч солдат.

– По-твоему, мой друг, сто тысяч – это мало? Или у тебя есть алхимик, который сотворит в колбе семена, чтобы бросить их в землю – и вырастут солдаты, как в древности у Кадма из зубов дракона?

Сэр Роберт улыбнулся и наклоном головы дал понять, что оценил и шутку короля, и его познания в преданиях древних эллинов.

– Речь о покорении государства, которое по меньшей мере в пять раз больше Англии. Но Штаден – вояка, он не понимал, что настоящее завоевание выглядит иначе. Получив торговые пути, мы уже не имеем нужды захватывать пустоши и непроходимые чащобы. Зачем тратить деньги понапрасну на товар, который через несколько лет сам без шума и суеты окажется в наших руках?

Король усмехнулся.

– Ты сам понемногу становишься коммерсантом, сэр Роберт.

– Но ведь и вашему величеству приходится беспокоиться о деньгах. Времена рыцарей Круглого стола давно миновали – и я всегда удивлялся, как они пускались в странствия без единого шиллинга в кошельке.

Король сам наполнил кубки.

– Пей гипокрас, мой друг, – ласково сказал он. – И передай коммерсантам – их король будет думать о них. Твое здоровье, друг!

## Глава 1

### «Отпусти хлеб свой по водам...»

Бывший подьячий Старого Земского двора Иван Андреич Деревнин никак не мог вычитывать вечернее правило. Следовало бы, пожалуй, впредь звать внука Гаврюшку, чтобы по молитвослову следил и, чуть что не так, подсказывал. Ослабел глазами подьячий Деревнин, пелена перед ними туманная появилась, потому и пришлось уйти с Земского двора. Кабы знал заранее – весь молитвослов бы назубок затвердил. А теперь – спотыкайся, как хромая кобыла, мучительно вспоминая нужные словеса...

Да еще мысли. Совсем худые мысли. Неладно на Москве...

Уж до того неладно, что за изголовьем у бывшего подьячего лежит большой нож-подсаадачник, а на столе, где, казалось бы, совсем недавно сличал и перебелил взятые на ночь в приказе столбцы, вместо чернильницы и перьев – кистень. В углу же прислонен бердыш, с которым Деревнин смолodu научился управляться.

Кистень непростой – в свое время был взят у собственноручно убитого лесного налетчика. Оружие в ближнем бою понадежнее пистоля, опять же – заряжать его нет нужды. Но и пистолы в хозяйстве есть...

– Дожили! Полон дом оружия! Словно Мамаева нашествия ждем... – проворчал Деревнин.

Помолиться следовало о многом. О том, чтобы Господь многочисленное семейство милостью своей не оставил. О здравии раб Божиих Прокопия с дружиною и иерея Гермогена. И чтобы кончилась наконец смута – хоть чем-нибудь да кончилась! Слыханное ли дело – патриарх в узилище! Сам патриарх! И, сказывали, оттуда ухитряется рассылать грамотки – чтобы народ поднимался на борьбу с польскими панами, захватившими Москву.

И еще о том помолиться, чтобы послал наконец Господь государя. Сколько ж можно без него?

Летом бояре скинули с престола ими же избранного царя Василия, роду Шуйских, насильно постригли его в монахи. Порешили: сперва править царством совместно, хотя такого на Руси до сих пор, кажется, не бывало, а потом созвать Земский собор и избрать нового государя.

А Земский собор – это выборные от всех городов, а городов в Московском царстве много. Пока собирались протрубить сбор, к Москве подошли два войска. Одно – царя Димитрия, коего теперь все звали не иначе как Расстригой и уже не понимали, как вышло, что он опять оказался жив, хотя вроде и убили, и сожгли, и пеплом пушку зарядили, и в польскую сторону выстрелили? Второе – польского короля Сигизмунда. Тот хитер, догадался, что легко может взять бесхозное царство.

Под Смоленском ловкие бояре, поняв, что деваться некуда, уговорились с польским гетманом Жолкевским, чтобы венчать в Москве на царство Сигизмундова сына Владислава. И чуть ли не сразу же появились на Москве копейки с именем царя Владислава Сигизмундовича... Жолкевский приехал, принял у москвичей присягу новому царю. И вроде бы пора появиться королевичу в Кремле, получить благословение от патриарха, быть коронованным в Успенском соборе, а он все не едет да не едет. И, как говорили, наотрез отказался принимать православие. А как же русскому царю без православной веры?

Меж тем бояре, опасаясь, что Расстрига, словно бы восставший из пепла, со своим войском возьмет Москву, впустили в город для защиты польское войско, ночью тайно отворили ему ворота Кремля. И оказались москвичи в положении мышей, которые для защиты от крыс впустили в свое мышинное царство котов...



Объяснять Господу, в какую беду попала Москва, Деревнин не стал – Господь сам сверху все видит. Молитв подходящих в молитвослове все равно не было, и Деревнин сказал так:

– Не прогневайся, Господи, что я не по-писаному, а как скверный язычишко ляпнет, и в грех мне не вмени... За раба Твоего Прокопия с дружиною прошу – чтобы пришел и выгнал полячишек окаянных. Сил никаких уж нет! Шатаются пьяные и по Кремлю, и по Зарядю, драки затевают, девок портят. Хуже тараканов – тараканов хоть выморозить можно, а этих как впустили вместе с Расстригой и его польской бабой, так и не можем толком избыть. А вот раб твой, Господи, Прокопий войско собрал, казаки к нему примкнули, князь Трубецкой с ним, прочие князья и воеводы... Облегчи ему пути, Господи, пусть поскорее к Москве будет. Пусть дружина его верна будет, пусть побольше народу к ней пристанет, от всех городов...

Деревнин замолчал, припоминая – кто вместе с рязанским воеводой Ляпуновым идет вызволять Москву. Точно не знал – а слухи ходили, вести попадали в Москву и передавались из уст в уста. То, что вместе с Ляпуновым идет со своими ратными людьми зарайский воевода Пожарский, было очень радостной вестью – Пожарского на Москве уважали за стойкость и полную неспособность перед кем бы то ни было вилять хвостом. Он не признал русским царем королевича Владислава, сказав, что присягу приносил царю Василию, Василий жив – так что отменить ее может лишь Господь Бог.

– И за казанскую дружину прошу, и за свияжскую дружину прошу, и за чебоксарскую дружину прошу, и за рязанскую, и за владимирскую... Устал я, Господи, при каждом шорохе за нож хвататься. Полон дом бабья, Господи, всех наверх, в горницы загнал, сам вот внизу сижу... Да какой из меня защитник-то, Господи?..

Старый подьячий вздохнул. Очень хотелось выговориться – и Господь там, на небесах, именно в этот миг, как потом выяснилось, отверз слух для жалобы и просьбы.

– Баб страшно на улицу выпускать. А есть ведь что-то нужно, Господи, семейка-то немалая... деточки, внуки, дворовые люди... А то и едим, что по первопутку из деревеньки привезли, на торг не ходим... Крупы кончаются, Господи, хорошо, капусты полторы бочки есть, гороха полмешка, еще толокно... А внуки пряничка просят... Яблочки моченые-то кончились... Пасха скоро – разговеться нечем, и в Светлую седмицу будет все тот же пост... Не дай помереть голодной смертью, Господи! Пошли нам спасение, Господи!

Молитва была до того искренней, что Иван Никитич вдруг понял: услышана!

Сторож Антип ходил вокруг двора с колотушкой, пусть все слышат – двор охраняется не одним лишь брехливым псом. Вдруг колотушка замолчала, зато пес залаял. Прервав молитву, Деревнин поднялся с колен и пошел к постели. В расписном изголовье поверх важных бумаг лежали две пистолы. Биться на саблях подьячий не мог, да и никогда не умел, а выстрелить на слух, пожалуй, сумел бы. И потом – взяться за кистень...

– Последние дни настали, – пробормотал он. – Последние... К тому и шло...

И точно – как оказался на престоле всеми проклинаемый Бориска Годунов, так Московское царство и пошло вразнос. И неурожай, и бунты, и поляки, разве что потопа не случилось...

И князья с боярами словно умом повредились.

Постучалась ключница Марья.

– Батюшка наш, к тебе человек!

– Что за человек?

– А не ведаю! Антипка впустил, стало, человек нужный.

– Проси.

И в опочивальню подьячего вошел осанистый чернобородый купчина в огромной волчьей шубе.

– Челом, Иван Андреич. – Он поклонился в пояс. – Я ненадолго. Меня на дворе приказчик Сенька с санями ждет. Угощенья не надобно – да и какое сейчас угощенье... Я вот зачем

пришел на ночь глядя, тайно. Помня твою ко мне доброту... Ну, словом, прямо скажу: решили мы с братьями съезжать с Москвы. Окончательно. Пока еще можно.

– Добро пожаловать, Мартьян Петрович. Так ты прощаться, что ли, пришел? – удивился Деревнин.

Время было не самое подходящее для хождения в гости, и купец это понимал.

– Нет. – Гость сел на лавку, полы шубы разошлись чуть ли не на сажень, Деревнин увидел подвешенный к поясу большой нож в ножнах и красную кисточку ножа-засапожника на левом голенище. – Давно мы не видались, ну да ты уж меня прости. Я о тебе не забывал. И слушай. Живет у нас на дворе божий человек, зима – а он босой по снегу ходит и в снегу сидит, и ничего – здоров! Сперва наши бабы где-то его на паперти подобрали, прикормили, потом в подклете ему место устроили, войлок постелили, стали обноски отдавать. Нам-то с братьями что, куска хлеба да миски постных щей для него жалко? А звать себя велел Васяткой. И сперва бабы подметили... Он молиться горазд, многие молитвы наизубок знает, встанет на коленки и бормочет. Но бывает – вдруг громко заговорит, и тогда к нему прислушаться нужно. Так-то он однажды возьми да и брякни брату Степану: приказчик-де твой, Петрушка, тебя обманывает! А он того Петрушку в глаза отродясь не видывал и имени даже не слышал. Степан бы не поверил, да его баба, Аксиныца, принялась, как бабы умеют, каждый день одно твердить: прогони да прогони Петрушку! И рассказала, как дорогую серьгу из уха потеряла, плакала, огорчалась, а Васятка ей вдруг: под сундуком, раба Божья, погляди. И дальше молится. Степан, чтобы баба отвязалась, стал за Петрушкой следить, одного из молодцов подговорил. И точно – так Петрушка с деньгами мудрил, что сразу и не догадаешься. Сестрица моя Танюшка только его и слушает, он ей, хворенькой, женихов обещает. Может, и впрямь сбудем девку с рук? Засиделась наша болезная...

– На все воля Божья, – еще не понимая цели Мартьянова прихода, сказал бывший подьячий.

– Вчера наш Васятка голос поднял. Да так завопил – мы перепугались. Бегите, кричит, бегите, на Москве будет глад и мор, и огонь пожирающий! Бегите, кричит, деточек спасайте! А мы и сами видим – ничем хорошим это польское сиденье в Москве не кончится. Да и верные люди донесли – как пойдет на Москву наша, русская, рать, будет тут шумно... Не оказаться бы вместе с панами в осаде, не дошло бы до того, что дохлая крыса за лакомство станет. А пойдет, на то вся надежда. А у брата Кузьмы в Вологде уже дворишко, там склады с нашим товаром. Мой Иван уже там, при нем, в приказчиках. Вологда теперь – вторая Москва, все именитые купцы туда перебежали, не знал? На Москве теперь – какая торговля? Только съестное покупают, сукон и даже холстов не берут. Иван Андреич! Ты меня в большой беде выручил! Ты, как в Писании, хлеб свой по водам отпустил, вот по прошествии дней его и обрел. Поезжай с нами, пока еще можно! У тебя дочки на выданье, внучки подрастают, невестка еще в самом соку да и женка твоя... И внучек любезный! Их увозить надобно, пока и впрямь заваруха не началась.

– Погоди-ка, подумать дай...

– Некогда думать. Мы этой ночью добро собираем, на другую ночь уходим. С воротниками сговорились, заплатили, выпустят нас перед рассветом, как паны уgomонятся... Спешим, чтобы никто не пронюхал. Решайся, Иван Андреич.

В опочивальне горели одна лишь лампадка перед образом Николы-Угодника да свечка на столике. Деревнин прищурился – да нет, не поглядеть уж в глаза Мартьяну Гречишникову, как в старое время, когда ловили вора, что повадился через подкоп таскать товары из купеческих лавок, когда, по следу вора спеша, угодили в доподлинное разбойничье гнездо. Тогда-то Деревнин, в ту пору еще крепкий телом, еще сорока ему не стукнуло, благословил грабителя, что собрался ткнуть ножом молодого, горячего Мартьяна дубинкой по башке, тогда-то они глазами и встретились.

А теперь Мартьяну самому за сорок, купец суконной сотни, брадат, женат, детьми Бог благословил...

– Да как же двор оставить, Мартьян Петрович? – спросил старый подьячий.

– А так и оставить – чтобы дворишко твой всю твою семью не сгубил. Все одно не успеет... Да и наши с братцами дворы не уцелеют. Да что дворы! В лесу деревьев много, новые дома поставим, новыми заборами обнесем.

– А жить в той Вологде на что?

– В дороге я вас прокормлю. Там твоего Гаврюшку на службу пристроим. Сколько ему, тринадцать? И ведь грамоте знает. Так что пора. Там столько теперь именитого купечества – сыщем ему место. Ты его сколько кормил – теперь пусть он тебя кормит. Так что завтра, в эту же пору, я за тобой людей пришлю на двух санях. И вот что скажу – сам, коли хочешь, сиди тут хоть до морковкина заговенья, ешь дохлых крыс, а девок твоих, невестку и внуков я, уж не обессудь, увезу. И будем Пресветлую Пасху справлять в Вологде – там-то будет чем разговеться!

Как будто деревнинские мысли купец подслушал, право!

Ушел купчина Гречишников, а Деревнин крепко задумался. Что ж у него было, окромя двора да всякой рухляди? Деревенька-кормилица? Так там, поди, поляки уже все разорили. Были денежки прикоплены – дочкам на приданое, денежки можно взять, были книги, образа, посуда, в том числе и дорогая, перины с одеялами... то, что за годы приказной службы скоплено...

Да уж из того приданого начал понемногу таскать – по рублику, по полтине. Пришлось – раньше после того, как оставил службу, племянники помогали, надеялся – с их благостыней дожить до того дня, когда внушка возьмут в приказ младшим писцом, дадут жалованье. Но в Филипповский пост старший из племянников, Данила, угодил в драку с панами, полуживого домой принесли, неделю всего и помучился. Младший же племянник куда-то подался вместе с родней жены, и проститься-то не пришел.

– Марья! – крикнул Деревнин. – Не таись, знаю, что ухо наставила. Зови ко мне Настасью с Авдотьей. Да не ложись – будем узлы вязать. Все короба, сколько в подклетах есть, тащите наверх.

Настасья, вдова его старшего, Михайлы, была взята шестнадцатилетней, в восемнадцать родила Гаврюшку, потом Дарьюшку и Аксиныюшку. Сейчас ей исполнился тридцать один. И, так уж вышло, не знала она настоящей свекровиной науки, когда невестку понемногу приучают к хозяйству, жена Деревнина, Агафья, померла за семь лет до свадьбы сына.

Когда она скончалась, Деревнин лет пять ходил вдовцом, пока не получил нагоняй от духовника, отца Карпа. Тот приказал жениться, чтобы грешными страстями не распалиться. Про страсти, надо полагать, он в подробностях узнал от попадьи, а та – от второй грешницы, Марьи. Но Марья в жены не годилась. И за то пусть благодарит, что ей подарков немало перепало, и потом – со двора не согнали, ничем никто никогда не попрекнул.

И так совпало, что свахи подыскали Деревнину невесту, Авдотью, что сыграна была не слишком шумная свадьба, Авдотья сразу забрюхателя; молодые, Михайла с Настасьей, поселились тут же, родился у них Гаврюшка, потом Дарьюшка. Полгода спустя после Дарьюшкиных крестин семью позвали к крестинному столу – у племянника Данилы дочь родилась. А там стряпухи недосмотрели – после того крестинного стола человек с десятков животами маялись, да как еще! Был среди них Михайла, все исцелились, а он помер. Настасья тогда брюхата ходила Аксиныюшкой, но сама о том еще не ведала...

Второй выживший сын от Агафьи, Алешенька, был неудачный, сущеглупый, его отдали в обитель, где он также скончался.

Молодая жена Авдотья родила двух девок, потом отчего-то рожать больше не стала. И так получилось, что продолжателем деревнинского рода остался внук Гаврюшка. Вся надежда – на него.

Гаврюшку лелеяли и баловали, Деревнин готовил внука к тому, чтобы получил высокий чин, был на виду у того государя, которого Бог пошлет. И не подьячим видел он любимца, а дьяком по меньшей мере. Главное – начать, с младых ногтей закрепить в приказе, и славно было бы, коли в самом Посольском. Когда Гречишников страшал войной, голодом и мором, подьячий не о дочках подумал – о любезном внуке. Вот кого следовало в первую голову спасать...

Жена и невестка переполошились, пришлось на них прикрикнуть. На голоса прибежали из своих покойчиков дочки, внучки и Гаврюшка, еще шуму добавили.

Наконец старый подьячий уговорил свое бабье царство.

– Двумя санями поедем, – сказал он. – Лишнего брать не можем. Пусть Антип в погребу яму роет, что сумеем – закопаем. Да не ревите, дуры!

Внучек Гаврюшка был в полном восторге: ехать! ночью! невесть куда! и ведь ему тоже пистоль в руки дадут! саблю прадедову дадут! А главное – хоть ненадолго избавиться от учения. Дед для чтения такие книги выбирал, что и сам в них, сдается, мало что разумел, а от внука требовал. Полегче было, когда дед приказывал читать себе и Авдотье главы из рукописного «Домостроя» – там хоть почти все понятно было.

Отроком Гаврюшка был обыкновенным, в меру ленивым, в меру шkodливым, любителем медовых пряников, левашей, пастилы и прочих сладких заедок, удачливым игроком в свайку, причем метал в кольцо не палочку с заостренным кончиком, а самый настоящий ножичек-засапужник. Кидать ножи детям запрещали – старшие сердито рассказывали, что был-де маленький царевич Митенька да, играя в свайку, на ножик свой напоролся и помер. Так то – малым детям, не отрокам, которые через год-другой пойдут на службу в приказы. Ножичек свой Гаврюшка выменял сложным и не совсем честным путем. Дед и мать о нем не знали.

Засапужник был хорошо спрятан в щели за лавкой, и Гаврюшка первым делом подумал: непременно нужно взять это оружие с собой, да так, чтобы старшие не заметили.

Дочки Деревнина, Аннушка и Василиса, красавицы-близняшки, тоже переполошились из-за своих сокровищ. Обеим – пятнадцатый годок, обе, считай, невесты, и сваха Марфа осе-нью заглядывала в гости к Авдотье Марковне – посидеть, выпить горячего сбитенька, закусить пирогом, полакомиться редкой в нынешней Москве пастилой, потолковать, кто на ком венчаться собрался, опять же – кремлевские новости обсудить. О женихах пока речи вроде и нет, но обе, сваха и мать, к разговору были готовы, а уж Аннушка и Василиса, что подслушивают за дверью, – тем паче.

Замуж им очень хотелось. Понимали, что так рано их не отдадут, еще год, а то и поболее, в девках маяться, но кто запретит исподтишка поглядывать на статных молодцов? Из-за одного чуть девичья драка не случилась: вот на кого он в церкви поглядывал и подмигивал, крутя ус, на Аннушку или на Василисушку?

Но Марфа уж который месяц носу не казала, жива ли, нет ли – неведомо.

Внучки, Дарьица и Аксиныца, подняли рев – и им много чего хотелось взять в дорогу. А сани-то невелики, в первых поедут сам Деревнин с женой и дочками, во вторых – Настасья с Гаврюшкой и дочками. И сколько же там останется пустого места для узлов и коробьев?

Умнее всех оказалась Авдотья Марковна.

– А третьи сани негде, что ли, раздобыть? – спросила она мужа. – Спосылай Антипа к Смолке, у Смолки непременно есть.

– Сани добыть можно, где возника взять?

– За деньги и возника сыщем.

– Времени нет.

– Отпусти меня, Андреич, к ранней обедне, глядишь, раздобуду.

– Возника – в Божьем храме? – Деревнин, обычно хмурый, даже рассмеялся. – Слышал я, что на Флора и Лавра коней к церквам приводят и молебен служат, чтобы им благословение получить. Так то, кажись, в Успенский пост. И не в церковь же их заводят.

Но жену к ранней обедне он отпустил. И то – сколько же можно сидеть дома безвылазно? И храм Божий вроде не так уж далеко. И перед дорогой хорошо было бы службу отстоять. Только велел одеться в смирное платье да вынуть из ушей дорогие висячие серьги. Но, поскольку бабе в нынешнее время опасно выходить из дому одной, он послал с ней ключницу Марью и мамку внучек, Степановну.

Авдотья Марковна шла замуж не по любви, а родители приказали. Любила же она всей душой соседа, Никиту Вострого, и он ее любил, и даже летом в саду тайно встречались и целовались. Убежала бы Авдотья к Никите, но его в то время в Москве не случилось – он с царским посольством уехал невесть куда, к хану Тевеккелю, принимать того со всем его народом в русское подданство. Вернулся – а на любушке уже бабья кика...

После того они ухитрились встречаться. Грешить – не грешили, а так – недолго поговорить в закоулке и рукой руки коснуться. И то уж – счастье! Никите высватали богатую невесту, женили его, а все равно тянулся к Авдотье, и она к нему тянулась.

Деревнин жену не обижал, но и не слишком баловал. Только порядка в делах требовал – такого, какой расписан в «Домострое». Ключница Марья вместо свекрови приучала ее к хозяйству; хорошо, жена подьячему попалась сообразительная, научилась дешево и в срок покупать припасы, сама возилась на поварне, помогая стряпухе Нениле. Невестку Деревнин к закупкам не допускал, держал в строгости, за ворота выйти – только со старшими, на ней лежала вся тряпичная казна – что залатать, что сшить, и работы хватало – дети растут быстро, из рубашонков своих вырастают – хоть каждый месяц новые шей. И она же, Настасья, учила Аннушку с Василисой тонкому рукоделию.

Жили мирно, многим на зависть. Только была в семействе некая ревность: Авдотья ревновала мужа к внукам. Она полагала, что ее дочек нужно в первую голову наряжать, а не книги Гаврюшке покупать. И до того даже дошла, что стала следить за невесткой Настасьей: баба-то еще молодая, в ее годы жить без мужа тяжело, а она и не думает свих привечать, стало быть, есть у нее кто-то... Сыскался бы тот «кто-то» – и донесла бы о нем Авдотья мужу, и кончилось бы его благоволение к невестке. Но Настасья себя блюла, много занималась дочками и рукоделием.

Авдотья, хоть всю ночь и собиралась в дорогу, не ложась, пошла к ранней обедне. Она знала, в котором храме могла встретить мамку Никиты, Анну Петровну, – в Харитоньевском. Той полюбилась недавно срубленная деревянная церковь – служивший там батюшка доводился ей какой-то дальней родней, и она любила после службы заглянуть к попадье, матушке Марфе. Анна Петровна, вторично овдовев и не сумев найти третьего мужа, сделалась богомольна, что не мешало ей посредничать при тайных встречах питомца с Авдотьей. В свое время она очень хотела, чтобы они повенчались. Да и теперь рассуждала так: Деревнин не вечен, ему седьмой десяток, Никитушкина Анна хилых деток рождает, не живут они, да и только. Коли бы Анна согласилась мужа освободить и в девичьей обители постриг принять, то дельце бы и сладилось. И не беда, что Авдотья уже двух дочек родила. Обе – здоровенькие, значит, и новому своему мужу тоже здоровых нарожает.

Анна Петровна уже намекала на это Авдотье и даже имела с ней беседу о тайных женских делах. Жена подьячего не совсем прямо, но призналась: не было в последние годы той причины, от которой дети рождаются. Конечно, слукавила: причина случалась, хотя и редко. Да и не желала она еще детей от Ивана Андреича – вот от любезного Никитушки хоть дюжину бы родила...

До Харитоньевского храма было недалеко – Деревнины жили тут же, в Огородниках, перебрались подальше от Кремля и Китай-города, когда Ивану Андреевичу пришлось оставить приказ.

В храме Божьем Авдотья сразу прошла налево, на женскую сторону, а у Анны Петровны там было любимое местечко возле канунника. Народу с раннего утра набралось много – время такое, что польские безобразники еще спят, так можно выйти из дому без опаски. Авдотья сумела так замешаться в толпу, что оказалась рядом с Анной Петровной и шепотом ей все обсказала. Та побожилась, что сразу передаст питомцу, а уж что он предпримет – того она знать не может. Но заметила, что Никитушка о своей бывшей любви сильно беспокоится и будет рад, коли она с Москвы съедет, хоть бы и в Вологду.

Молитвы, какой она должна быть, в то утро у Авдотьи не получилось. А, вернувшись домой, села она за разоренный столик, где уже не было зеркальца, и задумалась: хороша ли еще собой? Румянец навести недолго, очи насурьмить она умеет, но, если будет милостив Господь и вернет ей Никитушку, не разочарует ли его Авдотьино бабье тело? В меру в нем дородства, и грудь крепка, и серые глаза все еще хороши... и руки горячи, а это также много значит... и косы!..

Косы Авдотья берегла, туго не плела, мыла в отварах трав. Давным-давно старая нянька научила: в длинных волосах кроется великий соблазн.

Хорошо было бы сейчас велеть истопить мыльню. Путь долгий, когда сумеешь умыться толком – одному Богу ведомо. И дочкам велеть вымыться впрок...

Но муженек от такой затеи онемел: какая еще мыльня?.. Муженек сам рыл в погребке яму, чтобы спрятать добро, и любимое свое ненаглядное узорное изголовье – первым делом.

После ссоры Авдотья пошла жаловаться Настасье. А той было не до жалоб – следовало всю детскую одежку поплотнее увязать, да и свою тоже: когда еще на новом месте появятся деньги, чтобы принарядиться. И она же, Настасья, всех усадила за работу – чинить подбитые мехом чулки. Без них зимой в санях нельзя.

Но случилась и радость – когда уже смеркалось, сторож Антип вызвал Авдотью во двор.

– Вот возника с санями мужик привел, – сообщил он. – Кто таков – не сказался. Велел тебя покликать.

– Ах!.. – И Авдотья залилась румянцем. Отрадно было знать, что милый так скоро отозвался на ее нужду.

Накинув на плечи шубу, она помчалась к тому замечательному мужику, чтобы сказать: благодари, мол, того, кто тебя послал, да скажи – век его не забуду и встречи ждать буду!

Крепкого вороного возника ввели во двор, а за санями шел человек, которого Авдотья бы признала, даже когда бы он явился в святочной харе и тулупе мехом наружу. Сейчас же он был всего-навсего в войлочном колпаке до бровей и армяке, таком грязном, будто его десять лет не чистили.

– Ахти мне... – прошептала Авдотья, и стало ей страшно: милый проститься пришел, не постеснялся явиться на двор Авдотьиного законного мужа, и броситься бы ему на шею, да нельзя, нельзя, и грешно, и люди смотрят.

Она быстро подошла к саням, Никита шагнул навстречу.

– Любушка моя, – сказал он. – Бог даст, еще увидимся. Коня там, в Вологде, продайте. Корм для него – в санях. А еще к тебе просьба.

– Все для тебя исполню, мой свет...

– Когда с Божьей помощью приедете, первым делом надобно молебен отслужить. Сделай так, чтобы в Успенском соборе, что в самом Насон-городе. Или же сама как можно скорее до него добеги. Вологда невелика, добежишь быстро. Там спроси певчего Матвея и отдай ему грамотку...

Оглянувшись, не видит ли кто, Никита вложил в руку Авдотье туго свернутые и окутанные сперва лубом или берестой, а поверху холстинкой столбцы.

– ...и скажи – для Ивана. Запомнила?

– Запомнила, а что за грамотка?



– Грамотка из Посольского приказа. Дело тайное, никому не сказывай и не показывай. Гонца посылать, как в старину, – не доедет, на дорогах шалят. А вы поедете целым обозом, при нужде отобьетесь.

Авдотья держала сверточек, Никита все еще его из правой руки не выпускал, а потом и вовсе, позабыв всякий страх, накрыл обе их руки одной своей, левой.

И это было более, чем то, что случилось между Авдотьей и Иваном Андреевичем, когда она по его слову покорно снимала с шеи нательный крест и ложилась на кровать; с крестом-то – грех, а без него – все благообразно.

– Жить без тебя не могу, – прошептала Авдотья.

– Да и я...

Так они и стояли, двое грешников, и вдруг опомнились, и Авдотья, покраснев, как девка на выданье, кинулась прочь и налетела на Антипа.

– Антипушка, родненький, распряги возника, – сказала она. – Задай ему корма, в санях мешок с овсом, сено.

– Откуда такой красавец? – спросил Антип.

– Мир не без добрых людей. Крестный мой прислал, – соврала Авдотья, зная, что никто не побежит искать этого крестного у Никитских ворот.

Деревнин задал тот же вопрос. И получил тот же ответ.

Стали думать: кого брать с собой, кого оставить на Москве. Ключница Марья решила, что пойдет жить к двоюродной сестре. Стряпуха Ненила решила поселиться у замужней дочери. Мамка Степановна могла пригодиться на новом месте – она работы не боялась. Сенная девка Феклушка также – да и нельзя ее, дуру, одну оставлять, пропадет. Антип должен был править воронным возником. Больше дворни у старого подьячего теперь не было.

Оставалось только снести во двор коробья с узлами да заколотить двери и окошки.

Маленькие внучки с перепугу даже не плакали – жались к матери. Аннушка с Василисушкой всплакнули – им было страшно. Гаврюшка храбрился и обещал перестрелять всех налетчиков из пистолы, которую только этим вечером и выучился заряжать.

Ждали во дворе чуть ли не до третьих петухов. Беспокоились, мерзли. Хорошо, нашлись в подклете две преогромные старые епанчи из толстого грубого сукна, в них закутали внушек и Василису с Аннушкой, одни носы торчали. Деревнин в длинной шубе и в войлочном колпаке, подбитом овчиной, расхаживал взад-вперед, время от времени пытая жену с невесткой: оловянные мисы не забыли ли, Николу-угодника в серебряном окладе хорошо ли завернули, и рукомойник, рукомойник медный! Не забыли со стены снять-то?!

Когда прибыли двое саней Мартьяна Петровича, семейство помолилось и, перекрестясь, двинулось в дорогу.

## Глава 2

### Семейство в раю

Обоз собрался в Красном Селе, несколько жителей которого, богатых купцов, тоже решили ехать в Вологду. Почтенный был обоз – пять десятков саней, при них два десятка молодцов на крепких конях, да каждый кучер вооружен и саблей, и плетью с зашитым в кончик кусочком свинца; уезжали из Москвы к новой жизни людно, конно и оружно. Везли жен, детей, стариков; везли товары, припасы, корм для возников; вели и дюжину заводных коней.

Ехали, дав порядочный крюк, проселками, чуть ли не волчьими тропами. Чуть что – молодцы хватались за оружие. Первый долгий отдых дали себе и коням в селе под названием Рогожа. А потом уж отдыхали в Ярославле.

Старый подъячий Деревнин был истинный москвич – то есть полагал Москву единственно достойным местом для проживания, а на прочие города глядел свысока, считая, что живут там по давней поговорке: в лесу родились, пню молились. О Вологде он знал очень мало, а его семейство – и того менее.

По дороге Мартьян Гречишников взял его в свои сани ради приятного разговора, а в деревнинские сани сослал свою глухую бабку, которая не понимала, за какие грехи ее тащат зимней дорогой через страшные леса.

Купец глядел на Вологду со своей, купецкой точки зрения. И, как полагается толковому купцу, помнил все, что могло мешать или способствовать торговле. Тем более Вологда считалась городом хлебным. В недавние голодные годы цена на хлеб подскочила здесь в несколько раз, но он все же был, хотя и пришлось подъесть все старые запасы.

– Вот толкуют – был-де покойный государь Иван Васильевич великий грешник, – говорил купец. – А в Вологде его чуть ли не за святого почитают. Город-то при нем благоденствовать стал. А все из-за английской торговли. Три судна послал английский король – или королева?.. Тремя судами английские купцы шли новые земли открывать, попали в бурю, одно уцелело, спаслось в устье Двины. С того пошла вся торговля! И они, англичане, через Вологду к нашему царю ездили, и он их великой милостью пожаловал – велел торговать в наших краях. И вот уж сколько годов каждое лето у Николо-Карельской обители их суда пристают, и к Новому Холмогорскому городку тоже идут. Там Архангельская обитель, вокруг нее поставлен острог, и там же пристань при нем. Бывает, до девяти зараз! А оттуда водой везут товары в Вологду, а из Вологды уже дальше. И отменные сукна к нам везут, и мы им свои сукна сбываем. И бархаты везут, и шелка, и тонкое полотно. Погоди, доедем, мешки и тюки развяжем – я твоим дочкам по семь аршин подарю.

– И долог ли путь? – спросил Деревнин.

– Ох, долог... Речка Вологда петляет, что твой заяц, и речка Сухона, в которую она впадает, не лучше. А иного пути летом нет – кругом болота да топи. Коли идти на струге – две недели. По зимнику можно за восемь дней пробежать.

– А теперь англичане с нами торгуют?

– Вот то-то и оно, что друзья познаются в беде, – со вздохом ответил Гречишников. – Они нас не бросили. У них на Москве был свой двор, туда и товары свозили, всякий мог прийти, о дельце своем потолковать. У них служили отличные толмачи, да что толмачи! Когда кому выгода нужна, и по-китайски, и по-персидски заговорит. Сами английские купцы уже наловчились по-нашему объясняться. Иных детьми привезли, они у нас выросли, даже наше платье часто носят. А как иначе? Зимой в коротких кафтанишках не побегаешь, зимой длинный кафтан нужен и шуба до пят.

– А у них короткие, как у поляков? – полюбопытствовал Деревнин. Он, служа в приказе, англичан видел, но не приглядывался; к тому же у них хватало ума в холода надевать длинные шубы.

– Что поляки! У них кургузые кафтанишки и срама не закрывают! Как раз зимой все свое хозяйство поморозишь. Хотя... Иван Андреич, в Вологде я тебя насмешу – покажу англичанина в английских портах. Уж не знаю – шерстью их, что ли, набивают? Делаются круглые, вот такущие, плотные, ножом не проткнешь, сзади поглядишь – баба бабой! Прямо рука тянется ущипнуть.

– А для чего? – удивился старый подьячий.

– А их спроси. Портки, стало быть, вот по сих пор, а дальше – длинные чулки. Это, сам понимаешь, тоже не для нашей зимы. И обувь – вроде наших ичедыгов, легонькая, но с пряжечками, с ленточками. Ну да бог с ними, пусть хоть в персидском платье ходят, не наша печаль. Главное – они нас не бросили, не сбежали за море. А как впустили в Москву поляков, как стало видно, что от поляков нашей с англичанами торговле ждать беды, так они всем своим двором перебрались в Вологду. А Вологда, коли что, от поляков отобьется. Особливо теперь, когда все наши северные города – заодно и друг дружке могут помощь прислать. Прошло то время, когда поляков в города впускали! Еще царь Василий Иванович, когда в Вологде скопилось великое множество товара, оттого что купцы боялись везти его в Москву, велел воеводам все сделать, чтобы город оборонить. И тут английские купцы вместе с нашими вошли в совет, чтобы всем в этом деле быть заодно, и ратным людям, и нам, торговым, и городским головам.

– Немало англичан в нашей войске служит, – вспомнил Деревнин. – И немцев также.

Вот тут уже он мог рассказать Мартьяну Петровичу, как в пору, когда царь Иван Васильевич собрался Ливонию воевать и одерживал победы, было взято в плен немало немцев, служивших в польском войске, и им предложили перейти на службу к русскому царю, и они согласились.

– Когда с ханом Девлет-Гиреем воевали, от тех резвых немцев немалая польза была. Их посылали в тыл к ханским отрядам для особого промысла. Наши так ходить по вражьи тылам не были обучены, а эти – умели.

– Служба у них такая, – согласился Гречишников. – А что, и англичане тогда нашему царю служили?

– И эти у нас завелись. Только в приказных столбцах их писали: «немчины английской земли». Тогда для нас все, что не по-нашему лопочет, – немчин! Потом уж разобрались. А они, англичане, к нам попали случайно. Сам я при осаде Везенберга не был, мне тестев кум рассказал. Мы сидели в крепости...

И как же иначе сказать-то? Именно «мы».

– ...А шведы прислали брать Везенберг войско, что на вербовали невесть где. И оказались там природные немчины и те, кого мы тогда звали немчинами скотской или шкотской земли. Что ты хохочешь? Кум сказывал – сами себя они так звали. И вот те и эти немчины меж собой передрались, даже из пушек палили. Природные немчины оказались сильнее скотских, и скотские к нам в крепость перебежали. Вот как раз среди них были англичане. Тем осада и кончилась. А они стали служить нашему царю...

Беседа эта была приятна Деревнину уже и потому, что в последние месяцы он из лиц мужского пола видел только Гаврюшку и Антипа, служившего и сторожем, и дворником, и истопником, а с ними особо не потолкуешь – оба глупы и малознаючи. Выбирался в храм Божий с внуком, оставив дома Антипа, но там особо не поговоришь. Да и не с кем – давние товарищи-подьячие да писцы в Огородники не забредают.

Он истосковался по правильной и неторопливой мужской беседе.

По дороге во время остановок, чтобы дать отдых лошадям, женщины пересаживались из саней в сани – для забавы. Авдотья с Настасьей расспрашивали про божьего человека Васятку, им отвечали: да, точно, и пропажи находил, и правду всем в глаза говорил.

– Что ж его с собой не взяли?

– А не пожелал. Сказал: желаю видеть великий пожар, в коем многие грешники сгинут. Мы ему: так и ты ведь сгинешь! А он нам: так я и есть самый великий грешник. Что тут скажешь... Хлеба ему оставили, ключ от кладовых дали – там еще припасы есть. Он за нас молиться обещал. А у него молитва – крепкая!

Обоз продвигался не слишком резво, дабы коней не изнужить. Если бы ехать так, как едут зимой купцы, меняющие коней в известных местах, то от Москвы до Вологды можно за шесть, даже за пять дней добежать. Когда везут стариков с детьми да двух брюхатых баб, да еще коней берегут, то дней требуется одиннадцать, в чем Деревнин сам и убедился.

– Ну, Вологда уж близко, – сказал Антип, успевший сдружиться с прочими кучерами, которые научили его приметам. – Вон, вишь, по правую руку колокольня? То Покровская церковь в Козлене. Когда она вот этак выглядывает – до Насон-города и пяти верст не будет. А вон там луковки – то Успенский собор. Он в самом вологодском кремле стоит, над рекой.

– Слава те, Господи! – воскликнул Деревнин. Не видел он ни креста на Покровском храме, ни пяти луковок – серые пятна стояли в глазах. Но радость Антипа чистосердечно разделил.

Кони пошли шагом. Обоз медленно втягивался в Верхний посад, в Камень и дальше, где поселилось немало московских купцов и с ними – Кузьма Гречишников. Там они поставили амбары для товаров, сторожей наняли местных. Понемногу то полдюжины саней, а то и десяток уходили в переулки. Наконец остались только гречишниковские – с людьми и с товаром.

Семейство Деревнина только вертелo головами: что за жизнь, что за счастье! Дети по улицам носятся, их выпускают за ворота, не боясь беды. Девки молодые в стайки собираются и гуляют без всякого страха. А вот сани прокатили, в санях веселые нарядные бабы – хотя веселиться и наряжаться грех, Страстная неделя вот-вот начнется. И отпускают их мужья, зная, что никакого дурна от пьяных панов не приключится.

А вот и молодцы!

Деревнинские дочки наконец-то поняли: прав был батюшка, что увез их из Москвы в этот прекрасный город. Женихи-то по улицам – толпами, толпами! Вот один верхом на сером аргамаке проехал, шапочка с отворотами набекрень, борода золотистая, а очи соколиные!

– Скорее бы в храм Божий, – шепнула Аннушка Василисушке.

Там, в храме, не только Господу молятся да в грехах каются, там свести знакомство можно – но не с молодым, а с его сестрицами. Батюшка-то опять велит дома сидеть да рукодельничать, а матушка выпросится с дочками в церковь, матушка все понимает! А скоро им уже пятнадцать, самые жаркие годы начинаются.

– Ну, считай, мы уже дома, – сказал Деревнину Мартьян Петрович.

С особой радостью и Деревнин, и его дочки перекрестились на деревянный храм – хорошо, что есть где благодарственный молебен отслужить. Когда Мартьян Петрович велел останавливаться у крытых ворот, Аннушка с Василисой обрадовались – до храма-то идти всего-ничего, улочку перебежать, и строгий батюшка, может, даже без присмотра отпускать будет. Рай, суший рай эта Вологда!

Привез деревнинское семейство Гречишников на двор к брату Кузьме, а двор был в Кобылиной улице, вблизи от высокого речного берега, из окошек горниц все Заречье видать. Тот таких гостей не ожидал – Мартьян Петрович додумался вывезти из Москвы своего благодетеля в последний, можно сказать, миг. Но не выставять же на улицу. Кузьма Петрович позвал супругу и приказчика Ивана, своего племянника, велел спешно разузнать, где можно снять за

разумные деньги жилье. Позвал также конюха Никанора – посмотреть вороного возника; если Никанор одобрит, то себе оставить, а Деревнину заплатить, если не одобрит – велеть продать.

Супруга, Анна Тимофеевна, тут же забрала к себе Настасью и Авдотью с детьми, мамку Степановну и Феклушку. А внушек любезный, Гаврюшка, был оставлен при деде и слушал беседу старших с большим любопытством.

– Дивно! – сказал Деревнин. – Уж сколь по Вологде проехали – ни единого польского словечка не слышали. Как в рай попали!

– И не услышите, – ответил Кузьма Гречишников. – Я как раз был в Вологде, когда сдуру и с перепугу впустили сюда тушинцев. Да сами их потом и истребили. Полюбилась им, вишь, Вологда! У кого Вологда – у того и все Поморье, иного пути туда, пожалуй, и нет. Опять они приходили – и опять их выпроводили.

Не слишком докапываясь, как так вышло, что убиенный царевич оказался жив, деловитые северяне (и торговые гости, и монахи в обителях, и зажиточные крестьяне, и рыбацкие артели) поспешили подтвердить у нового царя свои стародавние права и льготы, чтобы никто не согнал с земель и не мог увеличить налоги. Тот прислал им воеводу – Федора Нащокина, который оказался большим негодяем. Дал он им и дьяка Ивана Веригина, который додумался до глупости: запечатать в амбарах и на складах все купеческие товары. Купцы ему этого не позволили. Вскоре вологжане, претерпев от неслыханных поборов новой власти, разобрались, что к чему, раскаялись в своей опрометчивой присяге и вернули себе прежнего воеводу – Никиту Михайловича Пушкина, а также прежнего дьяка – Романа Макаровича Воронова. Потом они взяли приступом дом Булгаковых, где сидел тушинский воевода, захватили всех тушинцев и оказавшихся в городе поляков, в том числе пленных. Сгоряча всех их перебили, а трупы скинули с горы в реку Золотицу, она же потащила их в реку Вологду, и там они сгинули. Таким несложным способом вологжане перешли на сторону Москвы и заново присягнули в верности московскому царю. Царь Василий Иванович особой грамотой благодарил их, и более вологжане в политику не лезли. Воевода Скопин-Шуйский прислал им немного войска и своих воевод – Григория Бороздина да Никиту Вышеславцева. И это вологжане от души одобрили.

Храм, который краем глаза приметил Деревнин, был Ильинским, при Ильинской обители. Рядом был и другой – в честь Варлаама Хутынского, также деревянный. Вот туда и послали Гречишниковы парнишку за батюшкой – Ильинский-то холодный, его на зиму запирают, а Варлаамовский теплый, там и молебен служить.

Кузьма Петрович так был рад, что брат с семьей благополучно до Вологды добрался, что позвал гостей – иные, московские беглецы, с Мартьяном Петровичем были знакомы, иные, вологодские жители, покамест нет. Первым пришел тот, за кем было послано, отец Амвросий, и с ним купец Кондратий Акишев, на чьи средства с прошлого лета обустроивалась небогатая обитель. И тут же пришел сосед, купец Рыбников.

Заговорили о строительстве Успенского Софийского собора, начатого еще при государе Иване Васильевиче, который все еще не был толком завершен. Комнатные женщины меж тем накрывали стол, и Деревнин с Гаврюшкой только что слюнки не роняли: в Москве и до Великого поста питались чуть ли не как иноки-постники, в дороге немногим лучше, а тут с поварни прилетали сладостные запахи доброй горячей еды – хорошая стряпуха такой тебе постный пирог испечет, что пальчики оближешь.

С церковного строительства речь перескочила на покойного царя.

– Иван Васильевич великий затейник был, – сказал Кузьма. – Приехал как-то сюда на Пасху и был недоволен, что город как-то лениво укрепляют. И тут же, в великий пресветлый день, во всех храмах с амвонов объявили: всем, где бы кто ни находился, хоть ты князь, хоть ты воевода, и с женами вместе, из церкви домой не заходя и платья на смирное не переменив,

идти таскать дубовые сваи к городскому рву, что потребны для укрепления городской стены. И что тут поделаешь? Бабы взвыли – но пошли.

– Суров был государь, – согласился Деревнин и подумал: вот такого бы сейчас, чтобы погнать прочь панов без всякого сожаления.

– А то мне еще покойный батюшка рассказывал, – добавил Акишев, – что суров он был не только к людям. Поставили в Насон-городе у архиерейского дома Успенский храм. Что за город, коли в нем Успенского храма нет? Вот церковь готова, вот наш государь входит в нее, чтобы обозреть, и тут ему на голову с потолка что-то валится. Скорее всего, это был кусок штукатурки, и немалый – лицо оцарапал. Тут наш великий государь возмутился и велел новехонькую церковь разобрать. Все взмолились, насилу отговорили. Но еще долго храм стоял неосвященный – царь не велел.

– Ишь ты, вон оно как... – пробормотал Деревнин.

– А еще была большая беда из-за телят, – добавил Рыбников. – Когда стены Насон-города строили, людишки государевы оголодали и ничего иного купить себе не могли, кроме как телят. Зарезали, съели, но когда государь узнал – велел их за то казнить.

– Телятину есть – грех, – согласился отец Амвросий. – Но я иначе слышал – будто это были не государевы людишки, а пленные поляки, им их вера позволяет.

– Когда на Москве хозяйничал Расстрига, он тоже телятину ел, – вспомнил Деревнин. – И многим это не нравилось.

Гаврюшка слушал все эти речи с огромным любопытством. Новые знакомцы ему пришлись по душе – веселые, улыбчивые, добрые. Его растил дед, бывавший не в меру угрюм, других взрослых мужчин, кроме сторожа Антипа, Гаврюшка почитай что и не знал. Да и кого он знал? Матушку, что потихоньку баловала? Теток Аннушку и Василису, которым еще и пятнадцати не стукнуло? А соседские ребята – они и есть ребята, что с них возьмешь.

Мужское общество Гаврюшке страх как полюбилось. Дед ему толковал, что вот пойдет на службу – заведет себе друзей среди приказных и сам во благовремение женится на дочке приказного. Но коли они все таковы, как дед, – купцы лучше, с купцами веселее! Вон как красиво расселись за столом – все дородные, плечистые, белозубые, пышнобородые, в нарядных полосатых зипунах – кафтаны скинуты, потому что горница жарко натоплена.

А на Москве-то все мерзли, дрова берегли...

Первым о Гаврюшке вспомнил Кузьма Петрович.

– А что, братцы, нет ли у кого на примете места для отрока? – спросил он. – По всему выходит, что Гаврюша должен стать кормильцем.

– В приказную избу бы, – высказал пожелание Деревнин. – Отрок у меня грамоте знает, читает бойко, писать обучен.

Купцы посоветались – куда бы пристроить. Внутри стоявшего над рекой Насон-города были места, где мог бы пригодиться знающий грамоте отрок: в съезжей избе кто-то должен писаниной заниматься, в дьячье избе при избе воеводской – также. Имелась еще писчая избушка, в которой сидели площадные подьячие; на Москве они околачивались в Кремле на ивановской площади, а тут имели свою крышу над головой. В тюрьме вроде бы писарь не требовался. При восьми амбарах, государевых житницах, наверняка бумажными делами ведали свои люди. Неподалеку от Пятницких ворот в губной избе сидели губные старосты, ведающие всякими безобразиями, воровством, грабежами, убийствами. И рядом были еще две избы – казенная и таможенная.

Купцы все эти места перебрали, и стоило кому заикнуться о казенной избе, вроде там место освободилось, тут же выяснялось, что место держат для кого-то из своих.

– В Насон-город не так просто пробиться, – ответил Рыбников. – Разве что пристроиться к площадным подьячим, но от них денег не жди, только науку – выучат, как кляузы писать. Отец Амвросий, что посоветуешь?



– Покажись-ка, отрок, – велел батюшка.

Гаврюшка вышел из угла, где смиренно сидел, и встал перед священником.

– Молитвы знает, – торопливо добавил Деревнин. – Сам обучал. Псалмы хорошо вычитывает...

– Лет ему сколько?

– Тринадцать, четырнадцатый пошел. Да Господи! Скоро ж ему четырнадцать стукнет! Его на Гавриила-архангела крестили! – вспомнил Иван Андреевич.

– Вот и славно. Ну, что иерей Божий может присоветовать? В пономари, – сказал батюшка. – Пусть Богу послужит, а там, глядишь, другое место ему выйдет. Я узнаю и своего Насонка пришлю сказать. Другого ничего вроде и нет...

На том и порешили.

Гаврюшка и рад бы возразить, но как перечить старшим?

Беда была в том, что он плохо знал церковную службу. Конечно, и мать его водила, и тетка Авдотья, и дед приказывал себя сопровождать, но все это случалось редко – боялись москвичи лишний раз нос на улицу высунуть. У князей и бояр – домовые церкви либо выстроены переходы, чтобы, почти наружу не выходя, со своего двора до самого ближнего храма добежать. Богатый человек может и домой попа зазвать – отслужить молебен, может и не то что крестовую палату – домовую церковь у себя завести. А отставной подьячий, что каждой полушке счет ведет, – не может.

Так что молитвы из Молитвослова Гаврюшка знал, многие даже назубок, и все псалмы не по одному разу прочитал, и Четьи-минеи – когда дед приказывал, а о службе имел смутное понятие...

Пришли еще гости, сели за стол, начался пир. Деревнин забеспокоился – как там дочки и внуки? Кузьма Петрович сказал: им кушанье наверх понесут. И вскоре старый подьячий с отвычки захмелел. Его, посмеиваясь, разули и уложили на лавку, Гаврюшке дали войлок – постелить на пол. Укрыли москвичей их же собственными шубами. Было жестковато, но Гаврюшка не жаловался – во-первых, тепло, шуба – лишняя, во-вторых, брюхо набито, в-третьих, мысли на грани яви и сна какие-то сладостные: будет служба, будут денежки, будут медовые пряники, будут новые друзья-приятели, с которыми можно обойти весь город, бегать на торг, играть в свайку...

На мечтах о своих будущих победах в свайку Гаврюшка наконец заснул.

На следующий день Анна Тимофеевна спозаранку пошла в Варлаамовский храм Божий и повела туда Авдотью с Настасьей и детей. А что такое богомольный поход? Это не только богослужение, это перед службой и после нее – встречи, разговоры, новости. На сей раз нужно было приискать московским гостям жилье. И жилье нашлось довольно скоро, через два дня, тоже в Верхнем посаде, в Коровиной улице, – хоть и не самое лучшее, одна светлица и еще сени на все немалое семейство, зато свое крылечко, печь годная, хозяева обещались поделиться дровами. Ну да для начала и такое сгодится, тем более что денежки нужно беречь.

Был у деловитой купчихи Анны Тимофеевны и другой замысел – красавиц-дочек Авдотьи показать. Пусть бы по Вологде прошел слух, что две красы писанные приехали. Девицам скоро пятнадцать, пора думать о женихах, а в смутное время молодец-вологжанин – жених завидный, лучше всякого москвича.

Опять же – батюшка стар, помрет – не будет им защиты и опоры. А отдать в хорошую семью – тут и защита, и опора, и Авдотью которая-нибудь из дочек к себе заберет век доживать – так рассуждала Анна Тимофеевна, не зная, что у Авдотьи совсем иное на уме...

После службы пришли мужчины – Деревнин и братья Гречишниковы, был отслужен благодарственный молебен. Потом Анна Тимофеевна повела Авдотью, Настасью и девиц по городу – людей посмотреть, себя показать. Зашли к куме, там просидели дотемна. Другой день

посвятили делам богоугодным – Страстная неделя, нужно и утром, и вечером службу отстоять, исповедаться и причаститься.

А потом уж перевозили имущество деревнинского семейства в новое жилье. Добрые люди, зная, каково устраиваться на новом месте, принесли скамейки, суконные полавочки, два табурета, большой ушат, корыто, даже большие пальцы взамен забытых в Огородниках. Нужно было заводить свое хозяйство. Соседки взяли с собой на торг Авдотью и мамку Степановну, с ними пошел Антип, прихватив два мешка. Ближний торг был на Ленивой площадке, что у Воскресенского храма, его еще называли малым торжком.

Там Авдотья и мамка Степановна убедились: доподлинно в рай попали. И чего там только не было! После полуголодного московского житья, когда на торг выбирались редко, женщины ошалели от изобилия рыбы – и мороженой, и соленой, и даже рыбьей муки – в щи добавлять. И осетрина тебе копченая, и семжина, и икра всякая! Авдотья не удержалась – хоть денег муж дал немного, взяла всем детям по прянику. И она была готова защищать эти пряники перед мужем до победного конца. Там же, на Ленивой площадке, кроме рыбы взяли муки, круп, сушеных грибов, горшочек меда, того-сего по мелочи. И мороженого мяса взяли, и коровьего масла, и яичек, и творога, – надо же пасочки приготовить, яички покрасить и во благовремение разговеться.

Деревнин в это время сидел на крыльце, слушал шум незнакомого города. Где-то корова замычала, где-то мужики затеяли глупую перебранку. Рядом скучал Гаврюшка. И туда же, на крылечко, взбежал к нему гость.

– Иван Андреевич, челом! Меня батюшка прислал, – сказал попovich Насонко, долго-вязый парень лет шестнадцати, с молодой, можно сказать, новорожденной хилой бородкой и бойкими черными глазами. – Место твоему внуку сыскалось, да еще какое!

– Так быстро? – удивился Деревнин.

– Так батюшка после проповеди к прихожанам обратился: кто, мол, может – помогите. И сразу же к нему вдова подошла, шорника Пантелея вдова, ее все знают. Она богомольная, как возьмется все храмы обходить – внуки с ног сойдутся, пока найдут и домой приведут. Все слухи соберет, надолго хватит кумушкам рассказывать. Вот она и сказала идти в Успенский храм, там-де один из пономарей сильно захворал. Батюшка велел мне бежать, узнавать. И точно – пономарь нужен! Так батюшка велел твоего внука сразу туда вести.

– Он не обучен, – вдруг испугавшись, сказал старый подьячий. – Не справится, осрамится.

– Обучат! Сперва подсказывать будут, потом запомнит. Я сам алтарничаю, знаю!

Вот и вышло, что счастливый Гаврюшка вместе с длинноногим Насонком, едва за ним поспевая, помчался к Успенскому собору.

– Что имя-то у тебя такое? – спросил Гаврюшка.

– А что? Обычное имя. У нас пол-Вологды Насонов.

– Отродясь такого не слыхивал.

– Мало ли – не слыхивал он. Вологда наша – Насон-град, вот и мы – Насоны.

– Да что за святой такой?

Насонко даже остановился от неожиданности.

– Ты что, Святого Писания не читал? Апостолов поименно не знаешь?

– Знаю! – возмутился Гаврюшка. – Всех двенадцать!

– А Насон – он от семидесяти! Ты у отца Памфила спроси – он тебе про семьдесят апостолов растолкует. И отчего Вологда так зовется. Насон и Сосипатр – вот как их звали, и когда справляли их память – в тот самый день крепость заложили, и царь ей так зваться велел. А было это вскоре после Муромской. Может, ты и про Муромскую Богородицу не слыхал?

– Отчего же не Сосипатр-град?

– Оттого, что натошак не выговорить!

Чтобы попасть к храму поскорее, Насонко повел Гаврюшку речным берегом. Там довольно высоко была проложена подходящая тропинка, что вела к кремлю, к Софийским воротам.

– Что за река, как звать? – спросил Гаврюшка.

– То наша Вологда. У вас град Москва и река Москва, у нас – так же. Запоминай, сам тут ходить будешь.

– Коли возьмут...

– А чего не взять? Ты же не дурак.

– И куда ваша Вологда впадает?

– А в Сухону.

– А Сухона – куда?

– Да в самое море, поди... – неуверенно ответил попович. – У нас суда строят да к морю их отправляют. И идут они долго, купцы сказывали, и Вологда петляет, и Сухона. А что с моря к нам везут – так тоже по рекам.

Речка Вологда по зимнему времени использовалась вовсю – по ней были проложены санные колеи, бабы-мовницы заставили мужиков пробить проруби для полоскания белья. Сверху были видны очертания устроенной на Крещение купели, которую давно затянуло льдом. Как полагается, на берегу стояли бани, и из других прорубей, что выше по течению, туда таскали ведра с водой. И там же баловались дети – съезжали с крутого берега на лед кто на салазках, а кто и на собственной заднице. Гаврюшка только вздохнул: он сам себя почитал уже взрослым, а страх как хотелось съехать хоть на клокe рогожи и пронестись чуть ли не до другого берега.

– Запоминай дорогу, – сказал попович. – Я тебя всякий раз водить не стану.

Кремль, который вологжане звали Насон-городом, как ему и полагается, стоял на возвышенном месте. Гаврюшка только фыркнул: далеко ему до московского, хоть стены каменные, но башни – деревянные. Сам невелик, а башен, как оказалось, двадцать три. Вошли Гаврюшка с Насонком через Софийские ворота – и сразу оказались возле собора.

– Вот Соборная площадь, а там у нас Торговая площадь, – сказал Насонко. – Слышишь, как галдят? С первых же денег сбегай, найди пряничный ряд, там посмотри, в которой лавке лучшая яблочная пастила, попроси отведать. Она у нас знатная!

Увидев храм, Гаврюшка удивился. Ему два или три раза доводилось бывать в Московском кремле с дедом – когда тот видел получше. И запомнил Гаврюшка московский Успенский собор. Тут же глазам не поверил: словно кто-то взял его и перенес в Вологду. Точно такие же пять глав-луковиц на толстых шеях, и окна – узкие и длинные, и соразмерность всех его частей. Но здешний храм обнесен каменной оградой с железной решеткой.

– Его еще прежний государь поставить велел, сам место указал, – похвастался Насонко. – Он ведь жил тут у нас. Сказал звать так: соборная Софийская церковь во имя Успения Пресвятыя Богородицы.

– Должно быть, много тут попов служит...

– А немного. Храм-то построили, снаружи все чин чином, внутри – и конь не валялся... ох, прости Господи! Один лишь Иоанновский придел в божеский вид привели, и там службы идут. Там и будешь пономарничать.

Принял Гаврюшку в храме старенький отец Памфил.

– Говоришь, службе не навычен? Хорошо, что сразу повинился, – сказал батюшка. – И хорошо, что пришел. Тебя Господь направил – чтобы в Светлую седмицу ты уже служил. Я тебя беру. Вот первое послушание – канунник в порядке содержать, огарочки прибирать, вон для них ведерко. Потом – лампадки возжигать на иконостасе и у чтимых образов. Прибираться будешь в алтаре...

– Как, батюшка?

– Ты что, не видал, как бабы полы моют и пыль стирают? Вот точно так же, чадушко. Не баб же в алтарь пускать. Так что и в алтаре, и в ризнице. Освоишься, начнешь понимать службу – тут тебе доверю кадило, чтобы загодя готовил и вовремя подавал. Потом плат будешь подавать – причастникам уста утирать. Тебя ведь ко мне сам Господь привел, я тебя научу Церковь любить. Сам знаешь – кому Церковь не мать, тому Бог не отец.

– Благословите идти, батюшка, – сказал Насонко. – Меня дома ждут.

– Отцу Амвросию кланяйся. Ступай, чадо.

Гаврюшке было стыдно спрашивать о плате. И он думал, что о деньгах должны договариваться старшие. Но отец Памфил сам повел об этом речь.

– Миряне платят за требы, чадо, и с каждой крестин, с каждого венчания и отпевания пономарю копеечка перепадает. А требы у нас часты. Вологда – город большой, и женятся люди, и помирают... Есть и еще приработок. Пойдем-ка в алтарь, там у меня большая Псалтирь лежит.

Впервые в жизни Гаврюшка оказался в этом святом месте. Даже встал на пороге, не решаясь войти. Но батюшка напомнил: вот тут и придется тружиться, порядок блюсти, полы мыть. Потом он наугад раскрыл Псалтирь и велел читать.

Дед выучил внука читать четко, не частить, чтобы каждое слово звучало веско и вразумительно. Гаврюшка знал, что не опозорится. Ему попался сороковой псалом.

– Блажен разумевающий нища и убога, в день гнева избавит его Господь. Господь да сохранит его, и живит его, и да ублажит его на земли и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему на одре болезни его...

Гаврюшка был потрясен тем, что вот он – в алтаре, и читает такой замечательный псалом, и вдруг он понял, что это не царь Давид говорил Господу о каких-то давних делах, а он, Гаврюшка Деревнин, просит великой милости в неведомой беде.

Отец Памфил дослушал до конца и сказал:

– Лепота! Не думал, что отрок с таким дивным понятием читает. Ну, с голоду ты не помрешь. Когда придут ко мне сговариваться насчет отпевания, я тут же тебя выведу. Ты ведь знаешь – над покойником всю ночь Псалтирь читать надобно. К утру, знамо дело, будешь носом клевать, но заплатят хорошо, и если срядиться за десять алтын, могут и алтын сверху накинуть.

Обнадеженный Гаврюшка взялся чистить канунник, стараясь сделать его как можно опрятнее, чтобы заслужить доверие отца Памфила.

Два дня он живмя жил в храме. Ему там понравилось – народу много, певчие поют сладкогласно, дед – далеко, Авдотья и ее дочки со своими дурными разговорами – тоже далеко, чего ж не жить? Опять же – долг скопившийся Господу отдал: отец Памфил исповедал его и допустил до причастия. Домой Гаврюшка прибежал поздно, мать наскоро кормила его, и он растягивался на полу, на толстом войлоке.

На третий день случилось неожиданное.

Видно, такова была Божья воля, что Гаврюшка увидел нечто странное.

Состоял в причте здоровенный детина Матвей – на том Матвее целину бы поднимать, пустоши распахивать, а он на клиросе басом поет и втихомолку с певчими бранится. Гаврюшка не то чтобы его невлюбил – а несколько побаивался, хотя Матвей на него вовсе внимания не обращал. Уж больно огромен был тот Матвей.

Утром, после того как отец Памфил после причастия обратился к пастве с проповедью и отпустил всех с миром, несколько богомолиц осталось. Ничего в этом удивительного вроде не было – не успели свечек к образам понаставить, хотя с батюшкой о требе уговориться. Одна, про это Гаврюшка уже знал, ждала мужа-певчего, чтобы увести домой, пока не увялся с приятелями пьянствовать. Гаврюшка, получив приказ протереть пол и шествуя с ведром воды в алтарь, и не взглянул бы на них, кабы не услышал голос.

Женщина спрашивала Ивановну, горбатую бабу, что по доброте душевной помогала следить за порядком в храме, о певчем Матвее, который-де, как его узнать, и Гаврюшка признал голос. Он удивился, искоса глянул на богомолицу – это была Авдотья. Правда, не нарядная, как полагалось бы, идя в церковь, пусть даже и в Страстную неделю, а вовсе в черном платье на голове, так низко надвинутым – не то чтобы ее лицо кто мог разглядеть, но и сама она видела лишь тот пяточок церковного пола, по которому ступала.

Очень удивившись, для чего бы ей вдруг понадобился верзила Матвей, Гаврюшка отошел в сторонку и стал исподтишка наблюдать. О всех делах семьи, связанных с церковью, он знал – и не понимал, зачем бы деду посылать Авдотью, когда передать на словах, что нужно, мог внук.

Тем более, что благодарственный молебен уже отслужил отец Амвросий, и других треб у семейства не предвиделось...

Авдотья же, быстро подойдя к Матвею, что-то ему шепнула, он кивнул, и тогда она, оглянувшись, передала ему некий сверточек. А потом без лишних разговоров вымелась из храма.

Гаврюшка чуть ведро не выронил.

Авдотья не была знакома с Матвеем, завести знакомство не желала, все, что ей требовалось, – сверточек передать.

Не понимая, что бы это значило, Гаврюшка решил сперва все рассказать деду, потом передумал: дед женат на Авдотье, нажалуешься на нее – и сам же потом виноватым окажешься. Такое с ним в детстве случалось. И потому он в тот же вечер обо всем рассказал матери.

Настасья никакого греха в передаче сверточка сперва не усмотрела – мало ли, кто-то из московских соседей попросил об услуге. Задумалась она уже потом. Ведь ни с кем из соседей деревнинское семейство, спешно собираясь в дорогу, и словом не обмолвилась, никто на двор не забегал, хотя, хотя...

Она вспомнила: Антип вызывал Авдотью на двор, когда привели возника с санями. Не Ивана Андреевича, а Авдотью. Она сказала потом, что смогла, выпросившись в церковь, передать весточку крестному. Может, в церкви ей кто-то и дал тот сверточек в холстинке?

Но ее размышлениям помешали доченьки – уже вроде помолились и спать легли, а вдруг поссорились из-за серебряного наперстка.

Поскольку Гаврюшка приходил довольно поздно, Настасья кормила его ужином отдельно. И их разговора никто не слышал.

Утренняя трапеза была рано – так Деревнин семейство приучил. И за этой трапезой Аннушка с Василисушкой принялись чирикать, как два милых воробушка: им, вишь, охота совершить богоугодное дело, малое паломничество, обойти все вологодские храмы. Настасья посмеивалась – ей была ясна причина такого богомольного усердия. И она понимала девиц: в Москве они всю зиму просидели взаперти, так хоть в Вологде погулять, размять ноженьки.

Авдотья также просила мужа за дочерей. На пасхальную службу весь город в церквях собирается – а им одним, что ли, дома сидеть?

– Да и я с ними пойду, – сказала она. – Я ведь тоже ничего тут еще не видела, только торг да Варлаамовский храм. Вчера там молилась, а ведь тут, говорят, в кремле знатный храм есть, Успенский.

Она по привычке называла крепость посреди Вологды кремлем – ведь в каждом городе есть свой кремль, вологжане же чаще называли ее Насон-городом.

Гаврюшка знал, что Авдотья и соврет – недорого возьмет. Он невольно посмотрел на нее с любопытством, не понимая, к чему такое странное вранье. И взгляды встретились.

Никто не заметил этого поединка взглядов.

Авдотья даже рот приоткрыла – словно для беззвучного «ах». И глаза у нее округлились. Но тут же она с собой совладала.

Гаврюшка понял: Авдотья сообразила, что он ее видел в храме. Но почему из этого нужно делать великую тайну – он не понял. Настасья также поймала Авдотью на вранье, но промол-

чала: глупо вступать в чужие дела, свекор, может, и поругает Авдотью, да потом с ней помирится, а виноват окажется тот, кто правду сказал. И она под столом тихонько наступила сыну на ногу: молчи, мол!

И Гаврюшка промолчал.

Он был отрок сообразительный. В доме, где считали и берегли каждую получку, он тоже многое измерял деньгами. И он решил: было бы очень хорошо, кабы Авдотья заплатила за молчание. Деньги за пономарскую службу придется отдавать деду, а то, что даст Авдотья, – матери, на сестриц. Она уж вздыхала, что ножки у них растут, новая обувка вот-вот потребуется, не в лаптях же с онучами их водить.

Но Авдотья, поев, куда-то исчезла, и Гаврюшка, быстро собравшись, убежал в Успенский храм.



## Глава 3

### Настасьино счастье

Женщины пытались устроиться поудобнее в небольшой светлице. Все, что не требовалось сей же час, снесли вниз, в подклет. Первым делом пристроили в углу образа. Другой угол, дальний и теплый, отвели Деревнину, там поставили для него лавку. Всем прочим пришлось до лучших времен привыкать спать на полу. Отдельно приготовили место для Авдотьи с дочками, отдельно – для Настасьи с дочками, ближе к дверям – для Гаврюшки, мамки Степановны и Феклушки. Антип же уговорился, что будет пока ночевать на конюшне у Гречишниковых, там можно в тулуп завернуться да в сено зарыться. Опять же – весна на носу, пусть и потеплеет позже, чем обыкновенно в Москве. А летом спать на сеновале – удовольствие.

Деревнин был недоволен – не так он себе представлял купецкое гостеприимство. Он догадался, что выдворение гостей в съемную горницу – затея Анны Тимофеевны, которой вовсе не хочется держать в своих покоях лишних детей и женщин. И он привык жить в комнате один – не только во время постов, когда муж и жена спят раздельно, а во всякое время. Тут же одиночество отменялось, и надолго.

А Мартьян Гречишников, что бы Деревнин ни бурчал о нем, сидя в своем уголке, как раз заботился о своем благодетеле, которого сманил в Вологду.

Он при помощи Кузьмы немедленно принялся восстанавливать старые знакомства и заводить новые. Три дня ходил по лавкам, был и на Торговой площади, и в Гостином дворе, не говоря уж о том, что под боком, – Ленивой площадке, смотрел цены, сравнивал товары, задавал вопросы. Вечером братья Гречишниковы и сами в гости ходили, и гостей принимали, разговоры велись все те же – о товарах и ценах. Но не только.

На четвертый день, когда уж смеркалось, Мартьян Петрович заявился к деревнинскому семейству.

Настасья как раз была в подклете, разбирала узлы и ужасалась: сколько же всего нужного оставлено в Москве...

– Заходи, Мартьян Петрович, – сказал Деревнин. – Прости, что у нас тут словно Мамай прошел. Все в одной комнате ютимся, и тут же доченьки мои играют. И усадить-то тебя некуда.

В голосе был явный упрек.

– Я с доброй вестью, Иван Андреич, – ответил Гречишников. – Живет в Вологде черной сотни купец Анисимов. Хоть и черной, а богатство у него немеряное. Его приказчики дорогие меха скупают, он своих людей за рыбьим зубом посылает, их на Двинской губе все поморы знают, они с самоедскими князьками поладили. Поморы для него ходят к Мангазее, туда остяки и тунгусы провозят ясак и много чего на продажу, так они это берут.

– Мангазея?.. – спросил Деревнин.

– Да, там теперь и острог, и свой воевода. Не на пустое же место тунгусы с самоедами ясак везут. Анисимовские люди едут на Пустоозеро, там сходятся с самоедами, сделки ведут без денег, выменивают у самоедов соболей на сукно, холсты, сало, кольчуги, толокно. Артемий Анисимов – он оборотистый. Он один из первых с Москвы прибежал. Купил двор, осенью ему пристройки поставили, четыре сруба на подклетах, и наверху светлицы, живет хорошо, нам бы не хуже. А у него молодая жена Ефимья, и он ей угождает. Сам знаешь, как это делается. Мониستا и серьги уж в укладки не вмещаются.

– Уж знаю... – проворчал Деревнин. Он уже не умел так угождать Авдотье, как хотя бы десять лет назад, и, чтобы жена не дулась, покупал спокойствие в доме подарками – пока еще мог делать подарки.

– Так вот, приехал сюда Анисимов со всем двором, опричь хором, и, понятно, притащил всех комнатных баб своей дуры. И что бы ты думал, Иван Никитич? Одна вдовушка в Москве за столько лет жениха не сыскала, а в Вологде огляделась, подцепила, повенчалась и ушла к нему жить. Другая и вовсе померла. Анисимовская женка шумит: все ей не так, ходить за ней некому! А вологодскую бабу не желает – они-де так лопочут, что не разобрать. Врет, конечно. Вот я и подумал о твоей Настасье. Сперва с самим Анисимовым переговорил: есть-де чистая вдова, примерного поведения, говорит на московский лад – не придерешься. Потом моя Терентьевна побегала, с Ефимьей Анисимовых толковала. Могут взять твою Настасью... погоди, не возражай! Могут взять вместе с дочками. У Ефимьи единое чадо – Оленушка, ей седьмой годок, ей подружки нужны.

– А какую ей положат плату? – спросил благоразумный старый подьячий.

– Для начала пусть за стол для себя и дочек послужит. Сумеет той взбалмошной Ефимье угодить – Анисимов отблагодарит. Ему покой в доме дороже золота и яхонтов.

– Эх...

Деревнин сказал одним своим «эх»: не думал, что доживу до того дня, когда невестку, вдову покойного Мишеньки, сам, своими руками, отдам в услужение к купчихе. Но там Настасья с дочками наверняка будет сыта. А ему, Деревнину, все заботы меньше – на три рта.

– И скажи ей – пусть не кобенится. В анисимовском доме богатейшие купцы бывают. Глядишь, кто на нее и заглядится. И возьмет, на троих детей не поглядит.

– Гаврюшку не отдам! – возмутился Деревнин.

– Ну, стало, Гаврюшку при себе оставишь, – усмехнулся Гречишников. – А ты не забыл ли часом, что у тебя две дочки на выданье? Пора о женихах подумать. Зови Настасью! Я же по одному дельцу еще съезжу и вернусь.

– Дарьица, беги за матушкой, – приказал дед.

Настасья, когда ей свекор сообщил о затее Мартьяна Петровича, перепугалась до полусмерти.

Она была настоящей теремной затворницей. При матушке своей – только в сад летом да в церковь Божию; выдали замуж за Михайлу – тоже нигде не бегала, одно знала – мужу угождать и деточек растить; помер Михайла – так себя блюла, как не всякой благочестивой вдове удастся. Даже вольных речей, какими ключница Марья развлекала Авдотью, не слушала. И вдруг – в чужой дом, к незнакомым людям?

Но свекор, которого она привыкла слушаться, приказал: иди и служи той Ефимье честно, будешь всегда сыта и довольна, и с детками своими вместе; глядишь, и Гаврюшке что-либо перепадет. И не век же сидеть в Вологде – рано или поздно прогонят с Москвы панов, можно будет вернуться и опять зажить по-прежнему.

Как свекра послушаться?

Но он велел принарядиться, и это смутило Настасью: никаких таких особенных нарядов у нее не водилось. Ну, есть одна, всего одна, красная рубаха-исподница, к ней шитые жемчугом запястья. Есть три летника<sup>2</sup> – синий, лазоревый и зеленый, две распашницы есть, к ним – вошвы<sup>3</sup>, расшитые пестрыми шелками, есть еще кортеля<sup>4</sup>, подбитая мехом, есть опашень<sup>5</sup> с серебряными пуговками, из красного сукна... телогрея есть, что еще?.. Не густо! Прочее, что было, перешла для дочек.

Выручила Авдотья.

---

<sup>2</sup> Летник – длинная, сильно расширяющаяся книзу женская одежда. Застегивалась до горла. Внизу вшивались боковые клинья. Имела очень широкие и очень длинные колоколообразные рукава, срезанные углом.

<sup>3</sup> Вошва – кусок ткани, вшиваемый как отделка или украшение в одежду, часто украшенный драгоценным шитьем.

<sup>4</sup> Кортель – женская меховая одежда, покроем похожая на летник, делался на белке, горностае, соболе и куннице. Покрышка его состояла из разных материй тафты, атласа и т. п.

<sup>5</sup> Опашень – верхняя летняя одежда.

Большой дружбы меж ними не было, но и не ссорились. Порой даже объединялись против Ивана Андреевича, не давая ему быть слишком строгим к детям. И вот Авдотья, вызвав на крылечко, сказала:

– Ты, свет, не его слушай, а меня. Наряжаться не вздумай! И румяниться незачем. Ты – бедная вдова, хочешь, чтобы взяли в дом из милости. Кто ее, ту Ефимью, знает – может, страшнее черта. А коли ты покажешься красивее, чем она, то держать при себе такую красу она не захочет. Ей, я чай, нужны комнатные женщины невзрачные, чтобы рядом с ними она была – царица! Опять же – пост еще не кончился, нечего наряжаться.

Настасья согласилась и с помощью Авдотьи собрала себе наряд – не так чтобы совсем смиренный, но и достаточно скромный. Летник – синий, опашень взяла у мамки Степановны, неразбери-поймешь какого цвета, главное – темный. Поверх волосника, в который упрятала русые косы, надела тот убрус<sup>6</sup>, что носила дома, его концы когда-то были богато расшиты жемчугом, теперь жемчуг был спорот и приготовлен для дочек. Кикю<sup>7</sup> Настасья тоже одолжила у мамки Степановны – у нее их были три. В последний миг вынула из ушей висячие серьги, вдела «лапки». Совсем без сережек-то нельзя, неприлично. Не инокия, чай. Эти «лапки» с синенькими камушками ей покойная матушка вдела, когда ушки только прокололи, потом их же Настасья вдела сперва своей Дарьюшке, потом своей Аксиньюшке. Теперь внушкам свекор велел носить другие серьги, побогаче, а эти лежали в укладочке.

Только собралась – а тут и Мартьян Петрович пожаловал.

– Готова? Вот и славно, – сказал он. – Сейчас же тебя и отвезу.

Оставив детей на Авдотью и Степановну, Настасья принарядилась и отправилась с Гречишниковым к Анисимовым.

Мартьян Петрович из тех лошадей, что шли в обозе, оставил двух, прочих продал, да еще сильного вороного возника, Никитин подарок, за которого хорошо заплатил Деревнину. Конюх Никанор его одобрил, а братец Кузьма сказал: чем в Вологде хорошего мерина искать, лучше этого забирай. Оставалось прикупить санки, в которые закладывать красавца, и он раздобыл отличные – чтобы, разъезжая по своим купецким делам, выглядеть достойно. Кучером посадил красивого парня Ермила, служившего у него в московских лавках в молодцах. Нужно ли открывать в Вологде свою лавку, Мартьян Петрович еще не понял; пожалуй, пока стоило вести торговлю со склада, куда будут приезжать за товаром хоть из Ярославля, хоть из Твери.

Гречишников усадил Настасью в санки, сам сел рядом, укутал ноги медвежьей полстью – и поехали.

Анисимовы жили тут же, в Верхнем посаде. Главной улицей там была Васильевская, она же постепенно переходила в Кирилловскую дорогу, которой вологжане ездили в Кириллов Белозерский монастырь. Проходила Васильевская через Камень, и там поставил себе хоромы купец Анисимов. Хоромы на вид были не так чтоб хороши – из еловых бревен, строенные без единого гвоздя, окна – малы, крыши – под слоем земли, что, по мнению вологжан, могло уберечь от возгорания и пожара.

Но внутри Анисимов с домочадцами уже отлично обустроились, хотя, по словам Гречишникова, московские палаты были не в пример обширнее и краше. Окна купец велел делать слюдяные, не бычьим же пузырем их затягивать. Слюду велел ставить «монастырскую», красивую. Отыскал он и печников. Не так много было в Вологде слюдяных окошек, и печей с дымоходами, большинство вологжан топили избы по-черному, да и теплые церкви также.

Покои Ефимьи, стоявшие на трех высоких подклетах, имели свое крыльцо, довольно просторное – Настасья даже позавидовала: вот где хорошо было бы летом сидеть да рукодель-

---

<sup>6</sup> Убрус – головной убор замужней женщины в виде полотенца, как правило, белого цвета, богато украшенного вышивкой.

<sup>7</sup> Кика – женский головной убор (сорока – без рогов, кокошник – с высоким передом).

ничать! Сада, правда, не было, а Настасья выросла там, где даже небогатый человек имел при доме сад. И она подумала: куда же деточек летом выпускать, где им качели ставить?

Мартьян Петрович окликнул дворовую девку, что вынесла с поварни два ведра помоев, приказал взбежать к хозяйке и сообщить: приехала-де купецкая вдова, Настасья, Деревниных. Вскоре сверху прибежала девчонка – забрать Настасью.

– Ступай с Богом, – сказал Гречишников. – А меня в поминание впиши – хотя не тебе услугу оказал, а Ивану Андреичу. Молись, чтобы Господь мне прибыль послал. Потом, Бог даст, и для Авдотьи дельце сыщем. Может, пряхсть с дочками будет. Не пропадете!

Ефимья сама вышла Настасье навстречу. Увидела ее Настасья и обомлела: такой красавицы не то что на всей Москве, а и во всем царстве, поди, нет. В своих комнатах купчиха особо волос не прятала, из-под волосника были малость видны толстые золотистые косы, а пряди, что обрамляли лоб, пушились – их сколько ни смачивай, ни примазывай, гладкими не станут. Губы – алые, пухлые, носик – прямой и чуть вздернутый, щеки – свежие, полные, а глаза...

Как раз из высокого окошка пал свет на личико Ефимьи, и огромные синие глаза вдруг засверкали почище всяких яхонтов. Заговорила красавица – и Настасья увидела мелкие белые зубки, которые сравнить можно было разве что с жемчугом.

– Добро пожаловать, – нараспев сказала Ефимья. – Будешь умна и верна – озолочу! А что ж дочек не привезла?

– Я, Ефимья Савельевна, не знала, приглянусь ли тебе. А деток в холод туда-сюда возить не хотела, я их берегу. И то уже дорогой чуть не застудила...

– Ин ладно, поживи тут денька два. Коли пойдет у нас на лад – пошлю за детками каптану<sup>8</sup>. Да, да, как уезжали с Москвы – мой Артемий Кузьмич нарочно для меня купил у каких-то бояр каптану, в ней, поди, боярыня в Кремль, еще к царице Ирине, ездила! А теперь вот я выезжаю – то в богомольный поход соберусь, то к родне. Это чтобы ветер лица не попортил. Ты когда-либо каталась в каптане?

– Нет, матушка Ефимья Савельевна, – заробев от такой бойкости купецкой жены, тихо ответила Настасья. Каптаны она, конечно, видела – это целый домик на полозьях, и зимой ничего лучше быть не может – ни снег, ни ветер туда не попадают. Не то что в открытых санках от Москвы до Вологды – сколько гусяного жира женщины за эти дни на лица извели, и подумать страшно.

– Стало, и берись за дело. Ты рукоделиям обучена?

– Обучена...

– Глаша, приведи Оленушку! – велела купчиха. – Доченька взялась рушничок вышивать, первый! Швы знает самые простые. Так ты посиди с ней, поучи ее.

Ученье вышло сомнительное. Села Настасья с красавицей Оленушкой в светлице, и только девочка взялась за работу, как снизу мать присылает кусок медового пряника. Пряник съеден, опять иголку – в руки, сделано несколько стежков – снизу мать шлет плоскую каленых орешков...

Когда за слюдяным окошком стало темнеть, Ефимья сама пожаловала – посмотреть, много ли вышито.

– И только? – удивилась она.

Настасья не знала, что ответить.

– А я-то думала... – В голосе купецкой жены было сплошное разочарование.

– Пойду я, Ефимья Савельевна. Вижу – не ко двору пришлась, – Настасья поклонилась и вышла на узкую лестницу. Ее шуба и отороченная полоской меха черная бархатная шапка остались в сенях.

---

<sup>8</sup> Каптана – зимняя повозка.

Стыдно было до слез. Выходит, всех подвела – и свекра, и Гречишникова. Но не жаловаться же на дитя и на ту сердобольную матушку, которая то и дело шлет чадушку всякие заедки.

Как возвращаться домой – Настасья не знала. Ее привез Мартьян Петрович, на дорогу она не смотрела. И даже в какой улице поселил давнего приятеля Гречишников – тоже не знала. Понимала одно – нужно уходить, опозорилась, нужно уходить... и поскорее...

– Куда ты? – спросила пожилая женщина, богато одетая, очевидно – мамка Ефимьи; очень часто, выходя замуж, девица приводила с собой в новую семью растившую ее мамку, связь с которой была порой прочнее связи с родной матерью.

– Домой, – коротко ответила Настасья.

– Не по душе, что ли, наши хоромы?

Настасья выскочила в сени, там подхватила с лавки свою шубу, нахлобучила шапку и спустилась во двор. Во дворе она спросила первую попавшуюся бабу, где живет купец Гречишников. Баба не знала.

А меж тем ночь опускалась на Вологду, и на анисимовском дворе могли вскоре спустить с цепи сторожевых кобелей.

Настасья решила дойти до ближайшей церкви. Там собираются богомольные бабы и могут знать о Гречишниковых – Мартьян Петрович приехал с большой семьей, со старыми и малыми, и у Кузьмы Петровича тут семья не первый день живет, и старики наверняка ходят куда-то замаливать грехи.

Выскочив за ворота, Настасья стала озиаться в поисках прохожих. Как назло, ни одного не было. Зато подкатили к воротам санки, в которых сидели двое и весело хохотали. Кучер окликнул здешнего сторожа, сторож отозвался, санки вкатились под крытые ворота.

Двое мужчин продолжали смеяться, перебрасываясь непонятными словечками. Настасья сперва удивилась, что ничего разобрать не может, потом догадалась: это ж не по-русски!

С языками у московских жителей, а тем паче жительниц, дело обстояло плоховато. Кабы не притащил Расстрига на Москву невесту-полячку с огромной польской свитой – то и этого бы языка ввек не слыхали, потом вообще пришло польское войско. Да и на что иные? Церковнославянскую речь в храме Божьем кое-как все понимали, а если явятся на торг купцы из таких украин, что с трудом понимаешь их лопотанье, то пусть осваивают московский выговор, иначе товар не продадут.

Речь анисимовских гостей ни на какое лопотанье не походила – не то что ни одного знакомого словечка, но и звуки вовсе нерусские.

Ворота за их санками затворились.

Настасья осталась на улице одна...

Впрочем, не одна! Шагах в двадцати от нее на перекрестке стоял высокий плечистый человек в огромном светлом тулупе. Ворот тулупа был поднят. И глядел этот человек на анисимовские ворота.

Настасье впору было к забору прижаться, чтобы этот здоровенный человек ее не заметил. Мало ли – вор, налетчик, насильник?

Она в браке не была счастлива – несчастна, впрочем, тоже не была, муж Михайла не бил, но и ласкать – не ласкал. Когда он помер, Настасья решила: с нее хватит, есть трое деточек, вот ими и следует утешаться. Замуж она не хотела. Прожив несколько лет вдовой, даже не представляла себе, как это – снова оказаться под мужиком.

Человек в тулупе прошелся взад-вперед, замер – и вдруг чуть ли не сажеными прыжками оказался рядом с Настасьей. Она вскрикнула, но ему не было дела до перепуганной бабы, он всего лишь хотел оказаться в тени забора. К воротам подъезжали еще одни сани, запряженные приметным возником – с белой звездочкой во лбу.

Настасье отозвались только что спущенные с цепи дворовые псы. Огромные кобели радостно понесли через двор к забору – им было любопытно, что там творится. Закричал сторож, отгоняя их, чтобы принять припозднившихся гостей. Псы не унимались. И это сильно не понравилось мужику в тулупе.

Ведь если псы примутся с лаем кидаться на забор там, где стоят с другой стороны люди, – выбегут сторожа, мало ли кто приглядывается к купецким хоромам.

– Молчи, Христа ради, – сказал он Настасье. – Молчи, дура...

И она поняла: сейчас произойдет ужасное.

Настасья и не знала, что умеет так звонко и пронзительно визжать.

Мужик пустился наутек, а она, вдруг обезножев, села в сугроб под забором. Там ее и отыскивали выскочившие со двора сторож с факелом и еще какой-то человек – видимо, кучер анисимовских гостей.

– Ты, что ли, вопила? – спросил сторож. – Чего расселась, вставай! Или ты тут рожать собралась?

– Ахти мне... – прошептала Настасья.

– Не тебя ли Гречишников сегодня приводил?

– Меня?..

– А чего голосишь на всю округу?

– Мужик... Стоял тут, под забором... кричать не велел...

Настасью выдернули из сугроба и втащили во двор. Она и не поняла, как вознеслась на высокое крыльцо – не Ефимьино, а другое. Потом ее втокнули в сени.

– Ты чья такова? – спросил вызванный сторожем из хозяйских палат мужчина. – Что у наших ворот забыла?

Настасья растерялась. Так вышло, что, живя в доме свекра, она с посторонними мужчинами вообще никогда не разговаривала. А тут – статный молодец, русые с проседью волосы, коротко стриженные, и борода кудрява, и брови мохнаты, и в плечищах – косая сажень. И зипун на нем богатый, из плотного полосатого шелка, алого с рудо-желтым, какой носят в жарко натопленных комнатах, и рубаха по колено – тонкого холста, и порты также полосатые, одно слово – щеголь.

– Ее, сдается, Мартьян Гречишников сегодня к хозяйке приводил, – объяснил сторож. – Позови, свет, Артемия Кузьмича. Он велел – коли что сомнительное, тут же его кликать.

Хозяина пришлось ждать. Настасью усадили на узкую лавку, по правую руку встал сторож, по левую – кучер, и чувствовала она себя – как воровка, которую прихватили на горячем. Наконец вышел Артемий Кузьмич.

Лет ему было не менее, чем Деревнину, но Деревнин – сух, поджар, сутул от приказной службы, наряди его в подрясник – и вот тебе инок-постник. Анисимов же – телом обленен, брюхо – всякому приходскому попу на зависть, шея – с Настасьино бедро толщиной, не меньше, а личико, как шутят веселые приказчики на торгу, в сковородку не уместится, щеки, поди, со спины видать. Однако взгляд прищуренных глаз – острый, умный.

– Говори, – велел он. – Да все рассказывай, с самого начала. Как ты к нам под забор попала?

Он был на удивление терпелив и выпытал у Настасьи все – с того часа, как к Деревнину пришел Мартьян Петрович и сообщил, что Ефимья Савельевна ищет себе комнатную женщину.

– Так. Пока что вранья не заметно. Андрюша, сходи в Ефимьины палаты, вызови Акулину, скажи – хозяин велел.

Как водится в богатом доме, где палаты стоят на многих подклетах, помещения соединялись переходами, а иные – открытыми гульбищами, опоясывавшими здания. Акулина прибежала быстро, и Настасья узнала ту женщину, которую сочла мамкой Ефимьи.

– Глянь-ка, узнаешь? – спросил Артемий Кузьмич.

– Да Господи! Как же она сюда-то попала? Ведь прочь со двора пошла! – воскликнула Акулина и сразу все, что знала, хозяйину поведала.

– Стало быть, не соврала, – убедился Анисимов. – Забери ее к себе, Акулина, время позднее, в моих покоях ей делать нечего, а коня ради нее гонять – не желаю. Да и куда гнать – непонятно. Постой! Еще раз перескажи – что то был за человек, который возле моих ворот околачивался. Может, есть примета, чтобы его потом опознать?

– Нет приметы... – горестно прошептала Настасья.

– А голос? – подсказал тот, кого Анисимов звал Андрюшей; Настасья решила, что младший родственник.

– Голос?..

– Сама ж говорила – молчать велел, дурой называл!

– Да будет тебе, – буркнул Артемий Кузьмич. – Дура – она дура и есть. Уводи ее, Акулина, и без нее забот по горло.

Настасья удивилась: какие вдруг заботы у купца на ночь глядя, когда лавки давно закрыты? Потом вспомнила: к нему ж иноземные гости приехали. И молча пошла следом за Акулиной.

Та привела ее обратно в покои Ефимьи Савельевны. И тут Настасья поняла, насколько скверно разбирается в людях. Ей красавица-купчиха показалась гордячкой. А та вдруг быстрым шагом устремилась навстречу, да еще и обняла со словами:

– Что ж ты, мой свет, сбежала? Коли обидели – прости, Христа ради!

И тут-то начались совсем иные речи, столь приятные материнскому сердцу: о дочках, об их здоровье, об их нарядах и обувке, о их обучении молитвам и рукодельям. С поварни принесли горячий сбитень, из поставца Акулина достала пряники, орехи, пастилу, пласты левашей – малиновых, смородиновых, земляничных, – и прочие постные утехи женского застолья; Ефимья так развеселилась, что велела нести на стол чарки и кувшинчик ставленного меда, невыразимой сладости и крепости. Настасья сперва дичилась, не дело на Страстной закатывать пиры, потом захмелела и принялась жаловаться на горькую бабью долю.

Проснувшись она на лавке. Сенные девки разули ее и даже раздели до рубахи. Под ней был мягкий тюфячок, а укрыли гостью одеяльцем на меху.

Голова болела, но сильнее боли было ощущение радости: здесь можно жить, сюда можно привести дочек, здесь тепло и весело!

Потом Акулина, которая действительно была мамкой Ефимьи, и еще одна комнатная женщина, ключница Татьяна, она же – казначея купчихи, позвали в образную вычитывать утреннее правило. Ефимьи там не оказалось, только заспанная Оленушка и сенные девки.

– А где же хозяйка? – спросила Настасья.

– А ее хозяин к себе позвал, – хмуро ответила Акулина. – Вот же выбрал времечко, нехристь...

– Это ж грех... – прошептала Настасья.

– Он, коли потребуется, всех вологодских попов поставит свои грехи замаливать, и никто ему не указ. Деньги-то водятся... Когда зовет – они встают поздно. Им мыльню топят. У нас так заведено – после этого дела хозяин непременно в мыльню идет, хозяйка – опосля того, и мы, грешные, с хозяйкой. Пойдем с нами, свет!

Настасья вспомнила, что чуть ли не месяц обходилась без мыльни, ей стало стыдно. Акулина, все поняв, успокоила ее, а Татьяна дала из своей тряпичной казны чистую рубаху.

И хорошо же было в той мыленке!..

Напарившись, вымыв косы и прополоскав их в травных отварах, Настасья спросила, как сыскать Гречишниковых. Сама она не могла бы указать кучеру, где взять дочек. Ефимья велела подождать – муж поехал в лавки и амбары, вернется нескоро, двоюродные братья – с ним, а более спросить не у кого.

Все утряслось, когда купец приехал обедать. Он знал, как найти Кузьму Гречишникова. Настасью посадили в добротную каптану, и она поехала за дочками.

Но в доме, где семейство Деревнина снимало светлицу, ее ждала очень неприятная новость.

Пропал Гаврюшка. Как ушел в Успенский храм – так по сю пору и не появлялся. Где ночевал – неведомо, жив ли – неведомо...



## Глава 4

### Опасная несуразица

Отец Памфил был очень доволен юным пономарем. Умения маловато, а старание есть. Научится мокрую тряпку выжимать – цены ему не будет. И готов разговаривать о божественном без всякой робости. Потому батюшка после вечерней службы звал его к себе – перекусить, чем Бог послал, да и потолковать о завтрашней службе – она праздничная, пасхальная, все соборные священники служить будут, а новоявленному пономарю будет благословение – облачиться в стихарь. За ними увязались и певчие. Знали – если старенькому батюшке принести из поленицы дров, хоть одну охапку, он может наградить полушкой.

Вдовствовал отец Памфил уже лет двадцать. Добросердечные прихожанки стирали ему белье, носили ему кашу, щи, когда кто хлеб печет – от ковриги хороший кус для него отрезали. Сам же он хотел удалиться в обитель и принять постриг, да все никак не мог собраться.

Гаврюшка, привыкший жить в большой семье, очень удивлялся – как можно жить одному. И он прямо спросил об этом отца Памфила.

– Кто ж тебе, чадо, сказал, что я один живу? – удивился тот. – Вхожу в храм, а там весь иконостас – моя родня, и с каждым святым поздороваюсь, каждому поклонюсь... И, веришь ли, они мне приветно усмеваются...

После чего батюшка заговорил о том, что и надо бы уйти в обитель, а на кого всю эту иконописную родню оставишь?

– Тосковать без них буду, – признался он. – Мои они, я с ними и потолкую, и все как есть им скажу. Ну, как я без них?

Впервые с Гаврюшкой взрослый, да еще сединами убеленный, говорил почти на равных. И Гаврюшка про себя рассказал – как дед его растит для приказной службы, как не хочется целыми днями в приказной избе штаны протирать...

– Строгий дед, поди?

– Строгий... Может и оплеуху дать...

Беседа затянулась. Потом батюшка предложил вместе вычитать вечернее правило. И как раз при последних земных поклонах они услышали петушиный крик.

– Первые петухи! Ох, дед же меня убьет! – воскликнул Гаврюшка.

– Ахти мне, старому дураку... А ты как прибежишь – пади в ноги, повинись, скажи – мы с тобой праздничную службу учили...

– И матушка... матушка, поди, уже ревмя ревет...

Расстроенный Гаврюшка отправился домой.

Он знал лишь один путь – по-над берегом Вологды. Идя другим, да еще ночью, он бы непременно заблудился. Сверху он видел пустую реку – те, кто днем бегал по тропкам, проложенным по льду, в Заречье и обратно, в Верхний или в Нижний посад, давно уже спали. И тусклые окошки на том берегу погасли, и не понять было, как стоят дома, одни лишь церковные колокольни, которых в Заречье набралось немало, мог видеть Гаврюшка – их очертания довольно четко рисовались на ночном небе.

Морозной зимней ночью все по домам сидят, и встретил Гаврюшка всего лишь двух баб – одна все вскрикивала, другая басом ее умирала.

– Да погоди ты ее хоронить, рожает Анфуска впервые, дело долгое, – говорила вторая. – Вот прибежим, косу ей расплетем, и дельце на лад пойдет.

Гаврюшка вспомнил: когда мать рожала сестриц, его выставляли во двор, велели бегать и играть, чтобы не путался в ногах и не задавал вопросов. Ему было любопытно, он даже оставался, прислушиваясь к голосам спешащих к роженице баб, и зазевался.

Вдруг рот ему запечатало что-то жесткое, а ноги оторвались от утоптанного снега. И полетел Гаврюшка по воздуху вниз, к реке.

Он не успел понять, что происходит, не успел сообразить, что нужно отбиваться руками и ногами, как оказался в проруби.

Прорубь во льду аршинной толщины, неподалеку от берега, была невелика, ей не давали замерзнуть, чтобы было где белье полоскать. Гаврюшка пробил ногами тонкий слой льда, успел раскинуть руки, получил удар сапогом по голове, но не слишком сильный. После чего злодей быстро убежал.

Сперва Гаврюшка даже не догадался, что вокруг ледяная вода, теплая шубейка и сапоги спасали от холода. Но вода быстро забралась под полы, смочила порты, и тут стало воистину страшно. Держась за края проруби, Гаврюшка забарахтался, забил ногами, но одежда намокала и уже всю тянула вниз, на дно.

Нужно было звать на помощь. Он хрипло закричал, крик получился коротким и негромким. Стало ясно: вот и смерть пришла. Ледяная жуткая смерть!

Вспомнился сороковой псалом, дикая мысль осенила: а вот подавал бы нищим у церкви, мог бы сейчас Бога о милости молить. Подавать было нечего, денег у отрока не водилось, но хоть хлеба ломоть – и тот ломоть сейчас спас бы!

– Эй, ты жив? – раздался мужской негромкий голос.

– По-мо-ги... – позвал Гаврюшка.

– Стало, жив. Держись, сейчас вытащу.

Нежданный спаситель на четвереньках подполз к проруби.

– Выбирайся из тулупа, или что там на тебе надето, – велел он. – Ну его к бесу. Я вас вдвоем с тулупом не выволоку. Держись одной рукой за край, другой выпрастывайся! И обувку скидывай!

– Дед... – ответил Гаврюшка, желая сказать: за потерю шубейки дед убьет.

– Какой я тебе дед? Хотя... хотя, может, и так... Ну, долго мне тебя умолять?

Гаврюшка забился, вытягивая ноги из великоватых сапог. А его правую руку цепко ухватила сильная мужская рука.

С немалым трудом внезапный благодетель выволок Гаврюшку из проруби.

– Слава те, Господи, – сказал он. – Вставай на ноги. Можешь, нет?

– Мо-гу...

Это у Гаврюшки получилось с большим трудом. И тут же благодетель завернул его в снятый с себя тулуп.

– Моли Бога, чтобы я по дороге не замерз да вместе с тобой не свалился, – приказал он, взял спасенного на руки и понес в Заречье.

Огромный ворот тулупа закрыл Гаврюшке лицо. В голове было одно: спасен, спасен! И обрывки молитв клубились, напознали один на другой, и наконец пробила крупная дрожь.

– Митька, бес, отворяй! Долго мне тут торчать?! – крикнул благодетель.

– Не ори, отворяю!

И был Гаврюшка внесен в обычную избу, был усажен на лавку, был раскутан, и быстрые руки стали стягивать с него мокрый кафтанишко.

– Это что за добыча у тебя, дедушка? – спросил женский голос.

– Из проруби выловил. Жаль, на уху не годится, – отвечал благодетель, – Ульянушка, тащи хоть простынь завернуть страдальца, не нагишом же ему сидеть. И что у нас в хозяйстве есть горячего?

– Сбитень на скорую руку можно сварить, – отозвался мужчина. – Ульянушка, доставай мед, сушеную малину доставай! Тебе, Чекмай, тоже будет полезно.

– Еще бы не полезно! Пока с ним бежал, до костей продрог. Чтоб я еще когда зимой поехал в Вологду!

Гаврюшка наконец принялся – в избе пахло как-то странно.

– Разденьте его совсем, – сказала Ульянушка. – Я ему, Чекмай, твою рубаху дам, она самая длинная. И посадите его на печь. Митька!..

– Как прикажешь, матушка-боярыня! – весело отвечал незримый до поры Митька.

В избе было темновато, хорошо освещался лишь дальний угол. Гаврюшка вытянул шею и увидел сидевшего там на табурете мужчину. Мужчина до прихода гостей занимался каким-то делом, для которого требовался большой пятнистый передник, волосы были, чтобы не падали на лоб, прихвачены полоской кожи. Пушистая борода торчала во все стороны, а лицо было тонкое, чуть ли не иконописное.

Наконец появился и Митька. Если у того, в переднике, торчала борода, то у Митьки – волосы.

Гаврюшка впервые увидел, как волосы на голове могут вздыматься ввысь чуть ли не на пол-аршина. Они еще и курчавились. А лицо было совершенно не русское, но к какому народу его можно было бы отнести – Гаврюшка не знал. Этот Митька (которому на вид было немало, чуть ли не сорок) раздел Гаврюшку, напялил на него рубаху и устроил ему ложе на печи. Дед Чекмай меж тем, сев за стол, уплетал кашу, которую достала из печи Ульянушка. Гаврюшка удивился: духовное лицо, что ли? Длинные седые волосы благодетеля достигали лопаток.

– Сможешь лежа выпить? – спросила Ульянушка, протягивая Гаврюшке кружку, где было что-то вроде сбитня: в горячей воде размешан мед и добавлена еще не успевшая разбухнуть сухая малина.

– Смогу...

Ульянушка оказалась молодой бабой, светловолосой и отнюдь не прячущей кос, из чего Гаврюшка вывел: мужчины в избе – ее родственники. Была она в одной рубахе, поверх рубахи – длинная не по росту душегрея из казанского кумача.

– Тебя Бог уберет, – сказала она. – Кабы не дед Чекмай – летела бы твоя душенька к Божьему престолу.

– Нет такого христианского имени – «Чекмай». Как его окрестили? – деловито спросил Гаврюшка. Он должен был знать, как правильно молиться за благодетеля.

– А так и окрестили, – загадочно ответила Ульянушка. – Ты пей, пей! Я вот травки найду, отвары сделаю. Лишь бы лихорадка к тебе не привязалась.

– А привяжется – сильные словечки есть, – сказал Митька. – Я знаю! Наговорю на воду или на что иное – жар как рукой снимет.

– Да ну тебя, нехристь! Образов бы постыдился!

– Каково сегодня потрудился, Глебушка? – спросил дед Чекмай.

– Весь день на большом образе клейма писал. Их, сам знаешь, у Николы-угодника немало. И был у меня тут инок Авдей, смотрел образа, коли срядимся – буду с Архипком Акинфиевым да с Теренком Фокиным писать образа в теплую церковь, деисусный ряд да праздники, да еще Похвалу Пречистой Богородицы. И есть у них старый Никола-угодник, нужно будет сходить посмотреть, возможно ли его починить, – ответил Глебушка.

– А приклад?

– Дерево и золото – их, краски – наши.

Гаврюшка понял, что его принесли в мастерскую иконописца. Он невольно улыбнулся – в таком диковинном месте он отродясь не бывал, да и где вообще бывал? И стал слушать разговор мужчин, в который время от времени вмешивался Митька, предлагая сыграть то в зернь, то в кости, то в тавлеи, то даже в шахматы. Ему обещали, что вот завтра утром – непременно.

Понемногу Гаврюшка стал засыпать. Но сон был страшный – он опять шел по берегу, опять ему запечатывали рот, опять он пытался завопить, но не мог. И уходил на дно любимый засапожник с шелковой кисточкой, и возвращался, и опять уходил... И так – всю ночь подряд. Когда в избе посветлело, когда стало видно затянутое бычьим пузырем ближнее окошко, он

понял, что сон вроде бы кончился, но это было ненадолго – опять перед глазами замельтешила какая-то гадкая и невразумительная муть. И дед еще ругался на неизвестном языке, и ответить было невозможно, и мать не шла на подмогу, как ни звал...

Время от времени Ульянушка поила его чем-то горячим и горьким. Потом дед Чекмай спустил его в печи и вынес во двор: мол, опростайся, покамест на печи не напрудил. И длилось это дурное состояние довольно долго, все это время Гаврюшка не ел – просто не мог есть, и потому сильно ослаб. Да еще пот постоянно его прошибал.

И вот настало утро, когда он понял – уцелел, жив! Наконец-то есть захотелось.

Ульянушка была в избе одна, катала тесто для пирогов и напевала. Для возни с тестом потребовался один край стола, на другом Гаврюшка увидел мису с крашеными яичками и нарезанный толстыми кружками кулич. Там же были две мисы с начинкой. Гаврюшка почувствовал: если не съест горячего пирожка, прямо тут, на печи, и помрет.

– Бог в помощь, – сказал он. – Мне бы хоть хлебушка...

– Ожил? – спросила Ульянушка. – Слава богу! Христос воскрес! Светлая седмица, Гаврюшенька. Среда на дворе. А тебе и невдомек? Слезай с печи, покормлю. Чего на ней валяться, она уже выстыла.

– Христос воскрес... – неуверенно ответил Гаврюшка. Он пытался понять, куда подевалось столько дней. – Будешь сегодня топить?

– Буду, а куда деваться? Вишь, пироги затеяла. Выведу тебя во двор, справишь свои нужды, свежим воздухом подышишь, потом и я к тебе выйду.

Изба топилась по-черному, и Ульянушка не хотела дышать дымом более, чем это поневоле необходимо при возне с печкой.

Гаврюшкина одежда давно высохла, но одевался он с трудом – штанину натянет и отдохнет.

– Сколько ж я провалялся? – спросил он.

– Трое суток с малым. Бредил, всякую чушь нес.

– А где все?

– Глебушка в обитель пошел, иноков поздравлять. Митьку к купцу Белоусову в Коровину улицу повезли. Купец в шахматы играть любит, а тут ему достойного противника, кроме нашего Мити, нет. Сказывали, шахматы – грех, ну да Белоусов наловчился – он на богадельню жертвует, грех замаливает.

– Что ж он с утра – не в лавке?

– Так праздник же. Обычно у него сыновья в лавках сидят, двое старших, младший с обозом за товаром ушел. А он – на покое, шахматами балуется. Вот за Митей и посылает, а тот и рад. Сказывали, покойный государь Иван тоже эту игру любил...

– А мне дед говорил – за той игрой и помер.

– Спаси и сохрани!

– А дед Чекмай?

Ульянушка ответила не сразу.

– Пошел по своему дельцу, – очень неохотно сообщила она. – Ты, Гаврюшка, лучше скажи – как твое прозвание и где батя с матушкой живут. Они, я чай, с ног сбились, тебя ищучи – пропал в чужом городе...

– Откуда знаешь, что в чужом?

– У тебя выговор московский. Так куда тебя везти-то?

Гаврюшка сознался, что не знает, в которой улице живет. Но сообщил, что это должен знать священник отец Памфил, что служит в Софийском Успенском соборе.

– Когда Белоусов Митьку отпустит, я его туда пошлю.

Потом Ульянушка накинула пятнистую простыню на рабочий стол мужа и принялась топить печь, лепить пироги, приготовила латку с горячим жиром, посадила в печь пироги с

вязигой и яйцами, другие – с рубленным мясом, в латку – вчерашние пироги с капустой. Изба понемногу наполнялась дымом. Нужно было выйти во двор, чтобы насквозь не прокоптиться. Ульянушка надела шубу, Гаврюшку закутала в старый тулуп, висевший в сенях, и вывела, а двери оставила открытыми – для дыма.

– Ты же избу выстудишь, – удивился Гаврюшка.

– Не беда. Печь будет так горяча, плюнешь – зашипит. Изба невелика, скоро согреется. Куда ж это дед Чекмай запропал? – тихо сердилась она. – И Глебушке пора бы домой быть.

– Ты за ним замужем?

– Замужем. Сыграли свадьбу увозом! – Она засмеялась. – Мои меня ему отдавать не хотели, я в банное окошко вылезла! Потому мы и в Вологду забежали – все от Калуги подальше. И спокойнее тут, чем в Калуге. Тут и венчались.

– Так вы с ним до венчания спознались? – удивился Гаврюшка. Он знал, что родная мать впервые увидела отца дня за три до свадьбы, а тетка Авдотья вообще замуж идти не желала, чуть ли не за косу в церковь привели.

– А что ж такого? Мы в церкви познакомились, я на отпевание пришла, а он там стоваривался запрестольный крест чинить и старые образа поновить.

– И что – сразу он с тобой заговорил?

Вопрос был неспроста – Деревнин столько раз твердил, что женит внука, когда тому стукнет шестнадцать, что внук поневоле задумывался о будущей невесте, а слухи ходили, что могут подсунуть хромую, косую и увечную; так что Гаврюшка вдруг понял, что ведь может сам высмотреть девицу.

– Он за мной следом пошел и узнал, где живу. А я, понятное дело, заметила и в тот храм повадилась – вдруг опять встречу? Да на что тебе?

Гаврюшке стало стыдно, и он промолчал. Потом, когда дым из избы ушел, а печка и впрямь была горяча, они сели за стол – есть горячие и жирные капустные пироги.

Теперь Гаврюшка смог разглядеть избу иконописца. Была она небогата, но одно из двух окон – слюдяное, дорогое, и куски слюды в переплете крупные. Гаврюшка, еще в сопливом детстве расколотивший чуть не четверть окошка, получил такой нагоняй, что навеки запомнил – пуд «монастырской» слюды, добываемой на Керети, на землях Соловецкой обители, стоит более двадцати рублей, это цена шести пар прекрасных, без порока, соболиных шкур; ежели прибавить работу, то крошечное окошко будет ценой чуть ли не в полтора рубля. Видимо, в Вологде слюда была дешевле, чем на Москве, – всякий товар по дороге в Москву сильно вырастал в цене.

Как раз под окошком был рабочий стол Глеба, уставленный пузырьками, плошками и коробочками, на столе был незаконченный образ неведомого коленопреклоненного святого. Гаврюшка догадался: иконописцу нужен свет, не впотьмах же малевать.

Вскоре пришел дед Чекмай.

Не признал его Гаврюшка. Запомнил деда со спины – плечищи и седатая грива до лопаток. А тут наконец Чекмай к нему лицом повернулся. Лицо же оказалось молодое – глаза черные, брови вразлет, черная бородка с усами ровненько подстрижены, а щеки – румяные. И была еще такая особинка – мысок на лбу. Волосы начинали расти не прямо, как у Гаврюшки, а словно бы острием в лоб врезались.

– Ожил? – спросил дед Чекмай. – Слава те, Господи. Христос воскрес, Гаврила. Я уж думал, до весны на печи проживешь. Ну, брат Гаврила, потолкуем.

Он сел на скамью верхом, кулаки выложил на колени. Гаврюшка даже испугался – столько силы было в этом движении Чекмая.

Живя в Огородниках, Гаврюшка мало кого знал, и его удивила уверенная мужская повадка. Сперва – удивила, а потом вызвала острую зависть. Он тоже хотел быть таким!

– Ешь, дед, – сказала Ульянушка. – Успеете потолковать.

– Успеем поесть, – возразил он. – Я нарочно, идя по речке, к той проруби подошел. На реке проруби льдом заросли, все мовницы по домам сидят, празднуют. Одежку твою под воду затянуло. Авось в Сухоне вынырнет. Ну, брат Гаврила, давай вспоминать, как вышло, что злодей бросил тебя в прорубь, а сам сбежал.

– Я не знаю...

– Откуда ты в такое время шел?

– Из Успенского храма.

– Что ты там среди ночи делал?

– С батюшкой говорил... про пасхальную службу... Я ж пономарствую...

– Вон оно что. В Успенском храме, значит, место тебе нашли. Отчего шел берегом?

– Я другой дороги не знаю, мне эту показали.

– Какой ирод показал?

– Насонко... Насон, батюшки отца Амвросия сын.

Еще несколько вопросов – и дед Чекмай вздохнул с облегчением:

– Ну, понял я, где ваше семейство поселилось. Уже на душе полегчало. Надо же – ночью сидеть в холодном храме...

– Я у отца Памфила сидел. Не в храме. У него тепло.

– Та-ак... В каких грехах отцу Памфилу каялся?

– Парнишка чуть жив, а ты ему допрос с пристрастием! – возмутилась Ульянушка.

– Ульяна, тут дело нешуточное. Сама знаешь – парня утопить хотели. А вот за какие грехи – это я хочу знать. Да и кто посмел – тоже узнать желаю. Сдается, именно за этим я сюда из-под Москвы прибежал.

– С чего ты взял? Парнишка тут и седмицы не прожил...

– С того и взял, что дело уж больно несуразное. Седмицы не прожил, никого не знает, его никто не знает, и вдруг – бултых в прорубь! Потому думаю – в этой несуразице, статочно, кроется нечто важное. Да и опасное. Где Митька?

– У Белоусова. Ох, Чекмаюшко, надоест он Белоусову хуже горькой редьки. Нельзя его туда так часто отпускать.

– Дело говоришь. А Белоусов нам надобен. Ох, грехи мои тяжкие... Гаврила! Ты в шахматы играть обучен?

– Грех ведь, – напомнил Гаврюшка.

– Грех. Еще Стоглавый собор их запретил. А обучен?

Гаврюшка вздохнул – не хотел чужим людям на родного деда доносить. А дед раньше, невзирая на Стоглавый собор, любил эту мудреную игру, и к нему старый приятель захаживал – бывало, с обеда до вечернего правила за доской сидели. Гаврюшка стоял рядом, смотрел, кое-что запоминал. Но приятель помер, шахматные фигурки остались в Москве, в Огородниках.

– Гаврила, ради Христа, уприси Митьку, чтобы тебя этой грешной игре поучил. Его ж хлебом не корми – дай какого-нибудь простофилю в шахматы обыграть. Дня два или даже три посиди с ним, займи его, чтобы никуда не бегал. А я отыщу твоего деда и с ним потолкую, – пообещал Чекмай. – Может, он догадается, чем ты так насолил тому злодею. И пусть бы он тебе за это время хоть какой полушубок купил. Да и сапоги – твои на дне, в них по весне караси гнезда вить будут.

Гаврюшка уставился на деда Чекмая с изумлением, испугавшись, что собеседник спятил, а Ульянушка расхохоталась.

В семействе старого подьячего шутки были не в ходу, потому что смехотворение – грех, и до Гаврюшки вдруг дошло: да никакой же не грех, раз люди радуются!

– Идет, – вдруг сказала Ульянушка. – Господи, наконец-то!

Гаврюшка понял – это она о своем Глебе. И уставился на дверь. Но отворилась дверь не сразу. Видать, Ульянушка наловчилась слышать шаги мужа за полверсты.

– Мир дому сему, – сказал Глеб, перекрестившись на образ Богородицы. – Что, Гаврила, опамятовался?

– Опамятовался, – ответил за Гаврюшку Чекмай. – Но ничего вразумительно объяснить не может. Никого не обижал, никого не обокрал... да и что за дурь – вора в прорубь спускать?.. Гаврила! А когда шел берегом – никого не повстречал? Может, ты злодея все же видел?

– Двух баб. Они к кому-то спешили, кто-то рожать собрался...

– Этим точно было не до тебя. А о чем говорили?

Гаврюшка пожал плечами – была нужда помнить бабьи глупости.

– Не говорили, куда пойдут, на чей двор? – допытывался Чекмай. – Вот ежели бы тех баб найти! Они хоть молодые, старые?

– Старые, – уверенно заявил Гаврюшка, который и родную мать считал безнадежной старухой.

Тем временем Глеб обнял Ульянушку и они, полагая, будто их никто не видит, крепко поцеловались.

О поцелуях Гаврюшка знал стыдное – будто бы они бывают «татарские», когда языки соприкасаются. Рассказал ровесник, сосед Ивашка, а откуда он узнал – неведомо. Даже подумать об этом было жутко. И вот сейчас Гаврюшка краем глаза увидел этот самый «татарский» поцелуй. И не хотел смотреть – само получилось. А потом Глеб с Ульянушкой разомкнули объятие, и Гаврюшка увидел их счастливые лица.

Это было удивительно. При нем дед целовал Авдотью раз в год, на Пасху, и лица у них после того были такие: слава те, Господи, отбыли повинность.

Поев, дед Чекмай присел к рабочему столу Глеба и взял прислоненный к стене образок, невеликий – примерно три на два вершка, без всякого оклада. На образке был неизвестный Гаврюшке святой – молодой кудрявый воин со строгим лицом, в доспехе наподобие колонтар, с тонким копьём и в красной епанче.

– Ну, что скажешь? – спросил он святого. – Пресвятой угодниче Божий Димитрий, моли Бога о нас...

– Как-то он там... – загадочно произнес Глеб.

– Храни его Бог, – добавила Ульянушка.

Гаврюшка решительно ничего не понял.

Однако он почуял – этих троих сейчас объединили одна мысль, одно желание, эти трое так смотрели на образ, словно был перед ними некто четвертый, не намалеванный, а живой.

– Что это за святой? – спросил Гаврюшка.

– Димитрий Солунский, – ответил дед Чекмай. – Славный был воевода. Молиться ему надобно, когда кого нужно из плена освободить. А нам – тем паче, нам всю Москву нужно освободить из плена. Так что молись давай, не отлынивай!

– Я акафиста не знаю...

– Как умеешь, так и молись. Тебя Бог от смерти спас, для чего-то же это сотворено, – сказал Глеб. – Может, как раз для того, чтобы молился.

– Ему теперь всякая молитва нужна, – пробормотал дед Чекмай.

И Гаврюшка понял: дело не в образке, а в чем-то ином. Святой, поди, невесть когда помер мученической смертью и попал на небеса, для чего за него молиться? А за кого же тогда? За Москву?

Потом дед Чекмай снова натянул тулуп и собрался на поиски старого подьячего Деревнина. Если о нем знают в Варлаамовском храме – то наверняка старушки, что живмя живут в церкви, а летом – на паперти, укажут нужный двор.

– Зря время тратишь, – сказал Глеб. – Конечно, нужно Гаврилу вернуть родне. Но твоему дельцу от этого никакой пользы. Лучше бы увязался вместе с Митькой к Анисимову, глядишь, что и разведал бы.

– Статочно, ты и прав... Ну да ладно, коли начал добро творить – доведу дело до конца. И, сбыв нашего страдальца с рук, перекрещусь с великим облегчением. Хотя при мысли, что по Вологде ночью шатается умалишенный и людей в проруби сует, как-то не по себе. Однако... однако не умалишенный это был... нюхом чую...

Чекмай усмехнулся, Глеба – обнял, Ульянушку – поцеловал в щеку, как младшую сестрицу, и вышел из избы иконописца, держа путь к речке.

Он уже разобрался, что и как расположено в Вологде, пересек речку по льду наискосок и вышел к Верхнему посаду. Там добрые люди указали ему искомый храм, и вскоре он уже стучался в дверь скромного домишки отца Амвросия.

– Дело неладно, – услышав, кого и зачем ищет Чекмай, сказал отец Амвросий. – Ко мне приходил подьячий – точнее сказать, его, болезного, за руку добрый человек привел. Этот подьячий, по прозванию Деревнин, желал знать, как выйти к Софийскому Успенскому храму. Внук у него пропал. Коли внук там служит – оттуда нужно и розыск вести, так он сказал. Он в приказе Старого Земского двора служил, ему виднее.

– Что-то еще про внука говорил?

– Про внучек. Сказал – велел невестке вместе с ними перебираться к купцу Анисимову, который каптану прислал, там-де им будет хорошо. Ее взяла к себе жить жена купца Анисимова, и с малыми детками...

– Анисимов... – пробормотал Чекмай.

– А про внука сказывал – что упрямый неслух, кабы не дедова тяжелая рука – аза от глаголя бы не отличил. Сильно был недоволен. Мой Олешко, младшенький, вышел на Кирилловскую дорогу, нашел извозчика, привел, они срядились, и подьячий мой поехал к отцу Памфилу. Я просил: когда хоть что-то узнает, мне бы сообщил. И нет его, и нет, и нет... На другой день я послал Олешку – узнать, не нашелся ли отрок. Так и отрок пропал, и сам подьячий не вернулся. Там его баба сидит одна с дочками, не ведает, как быть.

– И что, по сей день его нет?

– Нет. Я послал к Гречишниковым, Мартьян Гречишников подьячего с семейством в Вологду привез, может, парнишка там, у Гречишниковых. И там его нет. Я старшего, Насонка, посылал в Насон-город, в губную избу, там у губных старост можно про всех покойников узнать. Нет, никакого покойника в эти дни не случилось. Куда запропал – неведомо. Но, думаю, может, мать отрока что-то знает.

– Ох, ну и дельце... Знать бы, что за злодей на отрока покусился...

– Злодеи всякие бывают, – согласился батюшка. – Иной на исповеди такого нагромоздит – холодный пот прошибает. А донести на него, на душегуба, нельзя – тайна исповеди!

– Так, может, есть в Вологде душегуб, которому в радость – ни в чем не повинных людей в прорубь спускать? – с надеждой спросил Чекмай. – Понимаешь, батюшка, уж больно все это несуразно.

– Мне такой не попадался, вот те крест. – Отец Амвросий размашисто перекрестился. – Несуразно, да... Олешко! Хватит на сегодня караули чертить. Ступай сюда!

Худенький глазастый Олешко, которого не мешало бы постричь хоть овечьими ножницами, сидел за столом под самым окошком, списывал в самодельную тетрадку прописи. Попадья, матушка Маланья, одела и перекрестила на дорожку своего младшенького. Выйдя со двора, Чекмай взял парнишку за руку – так оно надежнее.

Им скоро повстречался порожний извозчик, что возил богомольцев в Кирилловскую обитель. Срядились, сели в санки, и Чекмай велел везти в Насон-город, в Успенский собор, искать отца Памфила. А Олешку и радость – через весь Верхний посад с ветерком прокатиться, в девять лет много ли нужно для счастья?

Но сперва из поисков ничего не вышло – поблизости от собора была воеводская изба, и у нее столпился народ. Мужчины были взволнованы и так галдели – поди, в Заречье было



слышно. Очень Чекмаю эта толпа не понравилась – не к добру. Он, крепко держа за руку Олешка, вошел в людское скопище и стал расспрашивать вологжан, что стряслось.

– Гонец из Ярославля прискакал! – ответили ему. – Такие страсти, такие страсти! В Ярославль из Ростова человек приехал, а туда из Москвы человека послали, а у нас, ты же знаешь, уговор – сведения передавать. Горит матушка Москва! Горит! Паны подожгли!

– Чтоб им сдохнуть! – от всей души пожелал Чекмай.

Ему нужно было во что бы то ни стало переговорить с гонцом. Но тот сидел у воеводы, и добыть его оттуда не было никакой возможности.

И вряд ли тот гонец мог сказать о человеке, которому служил Чекмай, служил не из выгоды – а потому, что видел в нем единственного достойного воеводу, способного очистить Москву от поляков. Вместе они воевали с поляками, вместе были в Зарайске, вместе ушли оттуда к Рязани, чтобы примкнуть к рати Прокопия Ляпунова. Тот человек и отправил Чекмая в Вологду с особым поручением, с опасным поручением, но Чекмай ни мгновения не колебался.

Ему оставалось лишь Бога молить, чтобы воевода остался жив в горящей Москве.

В толпе никто ничего не знал толком, да и знать не мог. Чекмай все же прислушивался к речам, надеясь услышать хоть что-то путное. Он увидел нескольких беглецов из Москвы – среди них Кузьму Гречишникова и купца, который, судя по сходству, был его братом. Чекмай уже знал, что звать его Мартьяном.

– Люди добрые, Бог уберет! – восклицал этот брат. – Еще бы малость помедлили – и гореть бы нам и с женами, и с деточками!

Чекмай был послан с поручением по двум причинам – странной и достойной. Странная: у него был нюх, нюх на все сомнительное и тревожное. Достойная: верность. Он был верен наперекор всему, беря в том пример со своего князя, воеводы безупречного, с таким понятием о чести, какого до сей поры в Московском царстве не встречали; может, и попадалось похожее, но редко.

Притащив чудом спасенного Гаврюшку к Глебу, Чекмай нутром чуял: несурязица происходящего, скорее всего, мнимая. Исчезновение подъячего Деревнина тоже как-то нехорошо благоухало. Но вот в толпе – братья Гречишниковы, которые могут что-то в этом деле понимать. Семейство подъячего, как рассказал Гаврюшка, пару дней прожило у Кузьмы. А все лица купеческого сословия, что за несколько месяцев перебежали из Москвы в Вологду, были у Чекмая под особым подозрением.

Подозрение укрепились, когда к Гречишниковым подошел хорошо известный Чекмаю человек в богатой длинной шубе, крытой вишневого цвета сукном с нашивками из алого атласа и золотным кружевом, в собольей четверугольной шапке с лазоревым верхом, в редких для Вологды перстатых рукавицах, еле видных из-под длинных рукавов шубы. Вот уж этот человек никакого доверия не внушал. Лицом он был узок и бледен, бородой и усами – рыжеват, про такие лица в народе говорят: рожа топором.

– Челом, Кузьма Петрович, – сказал рыжеватый. – Что деется, а?

– Ох, Иван Васильич, и помыслить страшно, мы с братом сейчас пойдем в собор, молебен нужно отслужить. Ведь застрянь он там – и лишился бы я брата.

– То-то и оно, – подтвердил рыжеватый. – И это ведь еще не последняя беда. Поляки из Москвы не уйдут, так и останутся там сидеть на пепелище. И никакой Ляпунов с воинством их оттуда не прогонит. Воинство-то разношерстное, кого там только нет. Чуть что не так – переругаются и передерутся.

Выговор у рыжеватого был истинно московский, что сперва даже удивляло Чекмая, который впервые слышал речь этого человека: он знал, что человек этот – «немчин английской земли», природный англичанин, с раннего детства живущий в Москве и до того сделавшийся

своим, что купечество ему даже русское прозвание присвоило – Иван Ульянов, подлинное же имя было – Джон Меррик.

– А ведь сколько денег тому Ляпунову послано, – вздохнул брат Мартьян Гречишников.

– О том мы после переговоров, – пообещал Ульянов-Меррик.

И Чекмай сам себе сказал: так, вот и еще парочка приятелей, которые то ли готовы поверить, то ли уже верят англичанину. Во всяком случае, желают верить. Может, Гаврюшка слышал разговор между братьями о важных делах, да сам не понял, какие сведения нечаянно раздобыл? Тогда все складывается: Гречишниковы знали, куда удалось пристроить на службу отрока, а молодцов при лавках и амбарах у них служит немало, найдется и такой, что за рубль родного отца в прорубь спустит.

Сведения же могли быть таковы, что, с Чекмаевой точки зрения, сильно смахивали на государственную измену. Не будучи человеком торговым, не беспокоясь о прибылях, он мог позволить себе удивительную роскошь – думать не о своем кармане, а о государстве. А о том, что из-за прибыли купечество на многие пакости готово, он знал доподлинно.

Примерно представив себе, что могло произойти, Чекмай забеспокоился о старом подьячем. Вряд ли его упокоили в соседней проруби – но куда-то же он делся? Он отправился на поиски внука – и пора бы уже пойти по его следу, коли еще не поздно.

В Успенском храме, кроме отца Памфила, были и другие батюшки, и певчих с десятков, и дьячки, и пономарь Никодим. Чекмаю именно он и попался первым – у самого входа, где сговаривался о каких-то тайных делах с молодой румяной бабой. Этот Никодим и указал домишко отца Памфила, сказав при этом, что старый батюшка, видать, захворал – не пришел вчера к литургии, его искали, да не нашли. Очень Чекмаю такая новость не понравилась.

Он долго и яростно колотил в дверь, никто не отпирал. Наконец пришла старушка с узелком, в узелке был горшок-кашник. Она тоже забеспокоилась, стала причитать, потом вспомнила – да ведь у батюшки в Заречье живет кума, не к куме ли подался? Светлая седмица, всем православным велено праздновать, у кумы, поди, стол накрыт и с мясным, и с молочным.

Представить, что старый опытный подьячий, понимающий, что такое розыск, вдруг позабыл о внуке и увязался за попом в гости к куме, Чекмай не мог. Но проверить следовало.

Он вернулся к собору и стал расспрашивать певчих: не слыхал ли кто о куме отца Памфила?

– Куму Натальей звать, – сказали ему, – Живет в Никольской слободе, сиречь – Владычной, там любого спроси, укажут домишко.

Тут могла быть полезна Ульянушка, которая, как всякая замужняя посадская женщина, свободно ходила по городу и знала многих соседок.

Отпустив Олешку и дав ему деньгу на угощение, Чекмай спустился к реке и побежал в Зарядье.

## Глава 5

### Чекмай и его воевода

Гаврюшка еще по-настоящему не выздоровел, был слаб, чем себя занять до возвращения Чекмая – не знал, и Глеб поручил ему растирание краски. Требовалась для поля густая и довольно темная празелень. Был заказан образ по обету – коленопреклоненный святой Митрофан, обращающий моление к Богородице, взирающей на него с левого верхнего угла доски. Заказчик, резчик пряниц Митрофан, ползими провалился хворый и всем рассказывал: пока во сне ему не явилась Богородица, и не чаял, что выкарабкается. Однако уже взялся за свое ремесло и радостно резал пряники из липы и березы. На них был спрос – печатные пряники всякому нужны, их и детям дарят, и женихи – невестам, и кум куме может пряничком поклониться.

Ульянушка вышла в сени, где по зимнему времени держала в тепле своих трех кур с петухом, покормила их, потом выскочила на двор – снять с веревок задубевшее на морозе белье. Вернулась она не одна, а с женщиной средних лет.

– Челом тебе, Глеб Афанасьевич. – Женщина поклонилась. – Нет ли Николы-угодника? Я бы выменяла.

– Опять? – спросил Глеб.

– Так для младшенького! Не могу его в дорогу отпускать, словно нехрестя! Никола-угодник должен быть!

– И когда в дорогу?

– После Светлой седмицы. Уже товар собран, осталось увязать. И поедут они, благословясь. Время такое – весна на носу, проворонишь санный путь – плетись две седмицы на струге.

– Так уж и собран? – не поверил Глеб.

Женщина вздохнула.

– Что смогли – то и собрали. Обозы пришли из Ярославля, Костромы, Казани – кожи выделанные, юфть, седла, сбруя. Из Пскова – холсты. А канаты – наши, здешние. Еще на Филипповки пришли обозы с коноплей – и тут же наших баб позвали чесать ее и прясть. А они и рады.

– Глупо как-то выходит, – сказал Глеб. – Как чесать и прясть – так наши бабы за копеечки, как канаты свивать – английские мастера, а мы чем хуже? Неужто перенять некому?

– Не для того английские немчины тут канатный двор поставили, чтобы нас учить. Они своих мастеров привезли, им с того выгода. А канаты, говорят, хороши и покупают их там, бог весть где, по хорошей цене.

– Ульянушка,ними с кивота нашего Николу-угодника, – попросил Глеб. – Я нам нового напишу. Так что меняемся, Архиповна, я тебе – образок, ты мне – ну хоть меру муки да двадцать копеек деньгами.

– Побойся Бога, Глеб Афанасьич!

– Дешевле меняться нельзя. Хочешь – беги на Ленивую площадку, там тебе наши богомазы еще и не такую цену заломят. Но вот что – можем иначе срядиться. Когда из Англии суда придут, твой Теренко обратно с обозом придет и расплатится со мной заморскими винами. Там-то, у Никольской обители, он у моряков их недорого возьмет. Но муку ты принесешь уже сейчас. Срядились?

– Срядились! – обрадовалась Архиповна, и Ульянушка сняла для нее небольшой образок – как раз такой, что в дорогу брать удобно.

Тут в сенях хлопнула дверь – явился Чекмай.

– Поесть ничего не найдется? – спросил он, скидывая на лавку свой огромный тулуп. – Ульянушка, не в службу, а в дружбу – есть у тебя кто во Владычной слободе?

– На что тебе?

Чекмай объяснил.

Архиповна по природной любознательности не сразу ушла, унося за пазухой образок, а осталась послушать – что скажет этот причудливый молодец с седой гривой, который со спины – пожилое лицо духовного звания, а спереди – завидный жених.

– А я знаю ту куму Наталью! – сообщила она. – Она как раз на берегу живет, и когда приходят бурлаки – сдает им домишко, а сама на лето уходит жить к сестре в Козлену. Пойдем, доведу.

– Отблагодарю, – пообещал Чекмай. – Дай хоть пирожка с собой, Ульянушка... Ох! Вы и не знаете, тут сидючи, а поляки Москву зажгли! В Насон-город человек из Ярославля прискакал.

– Ахти мне! – воскликнула Ульянушка, Глеб прошептал: «Господи Иисусе», а Гаврюшка громко воскликнул:

– Васятка! Говорил же божий человек, говорил!

– Что тебе божий человек говорил? – спросил Глеб, и Гаврюшка рассказал, как вышло, что Гречишников выманил Деревнина из Москвы.

– Дивны дела Твои, Господи! – повторяла, слушая, Архиповна, и по лицу было видно – не терпится ей бежать к соседкам, поведать про такое чудо.

– Сейчас наш воевода эту весть дальше пошлет – и в Каргополь, и в Холмогоры, и всюду, – сказал Глеб.

– Мне бы самому то донесение прочитать, так ведь не дадут! – сердито заявил Чекмай. – Ну так веди меня, Архиповна, что ли...

Он был не очень доволен, что придется идти с бабой и слушать ее бабьи глупости.

Но Чекмаю повезло – на дороге им попался сын Архиповны, Теренко, и баба, сдав ему с рук на руки Чекмая и получив деньги, побежала по соседкам.

Теренко был крепкий паренек семнадцати лет, очень довольный тем, что взрослые семейные мужики берут его с собой в обоз.

– Обоз у нас богатый – кожи везем, меха, мед, воск, холсты, сколь их за зиму набралось! – похвалился он. – И богоугодное дело сотворим – встанем у Михайло-Архангельской обители, инокам съестного пожертвуем, нарочно берем муку ржаную, горох, крупы. Там, у обители острожек, сказывали, стоит, в нем проживем. При нем – посад вырос, велено звать Новым Холмогорским городком, а все стали звать Архангельским. И у острожка мы суда встретим, когда придут. Тут наши купцы начнут торговаться...

– А ты?

– А я стережь буду. Там же прибудет дорогой товар – серебро, а то и свинец. И другого заморского товара довольно. А пока будем ждать, я пойду к кормщикам, к вожам, потолкую. Может, опытные вожи возьмут в ученье? У нас, я знаю, парнишки убегали, чтобы выучиться суда водить. Вместе с обозами уходили. Потом, бывало, возвращались, женились... А то и оставались у поморов. Чем плохо?

– Сколько вас у отца с матерью?

– Сынов трое да девки – Машка с Матрешкой. Машку уж сговорили, Матрешка еще глупая, ей тринадцати нет.

За такой беседой Чекмай и Теренко дошли до избы кумы Натальи, крепкой и румяной старухи, из тех, что, беззлобно обругав своего застрявшего на печи старика, сами запрягут лошадку, кинут в санки топор и поедут в лес по дрова.

Поняв, что кум пропал безвестно, она за щеки схватилась:

– Ахти мне, беда, беда! Я сама его в воскресное утро ждала! Бежать-то ко мне по речке недалеко. Куда ж он, горе мое, подевался?

– Речка... – пробормотал Чекмай. – А что, не было ли слышно, что из проруби кого-то вытащили? Может, наш батюшка свалился, добрые люди спасли, и он теперь у кого-то дома в жару лежит?

Рассуждал Чекмай так: коли Гаврюшку по неизвестной причине пытались утопить, может, у злодея это любимое занятие – людей в прорубь пихать? В том, что покушение на отрока, исчезновение его деда, затеявшего розыск, и второе исчезновение – человека, к которому первым делом отправился подьячий Деревнин, как-то меж собой увязаны, Чекмай уже не сомневался.

Растолковав куме Наталье, что ей следует делать, Чекмай с Теренком пошли прочь.

– Коли он где-то здесь – она его из-под земли выкопает, – сказал Теренко. – И батюшка, и тот подьячий – не парнишки, чтобы за обозом увязаться.

– А что, в ту пору обоз уходил?

– Да уходил, поди... Они теперь часто пойдут.

– Так уходил или нет?! – рявкнул Чекмай.

– Ушел... Вот те крест, ушел!

– Они спозаранку уходят?

– Да...

– И как идут?

– Иной – по реке, по льду. Лед гладкий, лошадки ходко бегут.

– Так ведь петляет река-то!

– Пока еще не петляет, всего лишь небольшой крюк сделать придется. А потом – опытные люди знают, где на берег выходить, где опять по реке бежать можно.

– Как полагаешь, Теренко, далеко ли тот обоз ушел?

Парень задумался.

– Мужики коней берегут, не хотят зря изнужить, дорога долгая. Да и сани тяжелые...

– Сколько верст в день обоз может пройти?

– Да верст тридцать, поди. Может, сорок. Вряд ли больше. Смеркается рано, в потемках идти нехорошо.

Чекмай задумался.

– Причудливое дельце... Ох, причудливое... Ин ладно. Ты, Теренко избу богомаза Глеба знаешь?

– Как не знать!

– Коли что проведает, или кума проведает, беги туда.

И он направился к Насон-городу в надежде, что ярославский гонец еще что-то поведал и мужчины, что столпились у воеводской избы, уже вовсю это обсуждают.

По дороге он понял, что нужно сделать одну важную вещь.

Не то чтобы важную – дело, ради которого Чекмай прибыл в Вологду, было куда значительнее поисков старого подьячего и отца Памфила, а также Гаврюшкиной судьбы: жив остался – и слава богу. Но и пренебрегать ею нельзя...

Гаврюшкина мать, поди, вся слезами изошла. Надобно ее пожалеть.

Чекмаю нужно было как-то попасть на анисимовский двор, да так, чтобы на него там кобелей не спустили. Он вокруг того двора постоянно околачивался, высматривая, кто из купечества приезжает к хозяину для ужина и застольной деловой беседы. Может статься, сторожа уже его приметили или же вскоре непременно приметят. А прийти сказать матери, что сын жив, – это ли не причина стучать в ворота? Но он торопиться не стал. Эта женщина взята в купецкий дом из милости. Порядки там, возможно, строгие. Если неведомо какой молодец

прибежит да станет встречи помогать – не прогнали бы ее со двора взашей, потому что хозяину померещились блудные дела.

И он решил отправить к Настасье Деревниной Ульяну. Мало ли зачем одна баба другую ищет.

Ульянушке он все объяснил вечером.

– Скажешь так, – велел Чекмай. – Сынок-де у добрых людей, жив, прихворнул, вернется во благовремение. И – все! Никаких долгих разговоров, тут же прочь беги.

– Так и сделаю.

Ульянушка и до замужества была довольно бойка: убежать с любимым – это ж какой норов нужно иметь. В Вологде, на новом месте, ей самой пришлось заводить хозяйство, знакомиться с людьми, ходить на торг и там торговаться за каждую полушку. Вологжане не сразу признали Глеба – своих богомазов хватало. И тут большая польза была от Ульянушки, которая рассказывала бабам о муже. И самой Ульянушке была польза – она присматривалась к деятельным и языкастым вологжанкам, училась бабьей смекалке и ловкости.

Поэтому она сообразила: нужно вызвать ту Настасью Деревнину во двор, а не ломиться к ней в купецкие палаты. Повод для встречи нашелся на рабочем столе Глеба – образок Богородицы; обещала-де принести, чтобы выменять на сережки московского дела.

Анисимовские ворота были отворены, во двор въезжали сани с дровами, так что Ульянушка вошла без помех и сразу смело обратилась к сторожу: пусть-де пошлет кого из дворовых девок в купчихины покои, чтобы вдова Настасья, недавно взятая в дом, спустилась ради важного дельца. И был показан образок – новенький, свежий, написанный на продажу.

Ждать пришлось недолго – Настасья вышла на высокое крыльцо покоев купчихи Ефимьи Савельевны.

– Ты, что ли, меня ищешь? – спросила сверху она.

– Коли ты – Настасья Деревниных, то я, спускайся скорее!

Настасье и в голову не пришло перечить – раз так звонко и строго сказано, нужно спускаться.

Ульянушка удивилась – у матери, чей сын безвестно сгинул, лицо должно быть заплаканное, а эта матушка весела и сверх меры нарумянена (Ульяна не знала, что Ефимья со всем пылом души взялась опекать и баловать свою новую подружку с ее дочками).

Что-то тут было не так.

– Сынок твой тебе кланялся, – осторожно сказала Ульянушка.

– Господи! Как он? Здоров ли?

– Малость прихворнул.

– Так я и знала! Ты, свет мой, когда твой муж или брат поедет с обозом, вели ему передать... – Настасья быстро вынула из ушей серьги. – Пусть там, в Холмогорах, продаст, да чтоб за ним старшие посмотрели – не продешевил бы. И еще передай – дед у нас пропал, поехал его искать да и пропал. Да еще вели ему сказать – пусть возвращается, никто его корить и наказывать не станет!

– Передам, – сказала несколько ошарашенная Ульянушка.

Ей бы следовало спросить, откуда такие вести, будто бы Гаврюшка в Холмогоры уехал. Она бы и спросила – кабы не пришла сюда по заданию Чекмая. Чекмай же был другом ее Глеба и, поселившись у него в Заречье, сразу сказал им обоим: прибыл по опасному дельцу, так чтобы держали языки за зубами.

– И еще пусть ему скажут – я за него денно и нощно Бога молю! И еще – когда вернется, никому на него кричать не позволю! Что – свекор? Свекор, того гляди, совсем ослепнет и из ума выживет... Плевать я на него хотела!

В глазах Настасьи была такая неслыханная отвага, что впору садиться на воеводского коня и вести войско в бой за Москву.

– Так и велю передать. А тебе вот образок...

Образок муж дал не для того, чтобы Настасье дарить, но у Ульянушки крепко засело в голове: Настасья якобы должна ей дать серьги и в промен взять образок.

– Да что ты, мой свет! Пусть вдогонку Гаврюшеньке пошлют! Пусть он там, в Холмогорах, Богу молится... А я тут буду свой грех замаливать.

Ничего не поняв, Ульянушка поклонилась и побежала прочь со двора.

Когда поздно вечером пришел Чекмай, она вышла к нему из-за холщовой занавески, которой отгородила супружеское ложе, и сказала:

– Вот что, дедушка. Либо у меня уже ум за разум зашел, либо у той Настасьи.

– У нее, – сразу ответил Чекмай. – Ну-ка, рассказывай.

Услышав, что Гаврюшка, мирно спящий на лавке, сейчас за каким-то бесом едет в Холмогоры, Чекмай хмыкнул и почесал в затылке.

– А ведь я был прав! Глебушка, вылезай. Я-то прав был!

Глеб в рубахе и портах, босой, вышел на зов.

– И в чем ты был прав, дедушка?

– А вот в чем – это дело с пиханием отрока в прорубь связано с тем делом, по которому я приехал! Митя! Митька! Вставай!

Митьке было постелено на полу, на войлоках. Он сел, протер кулаками глаза и, спросонья плохо соображая, заявил:

– Трофим Данилыч, я сейчас, только фигурки соберу...

– Это он с Белоусовым разговаривает, – усмехнулся Глеб. – Совсем детинушка заигрался.

Наконец все четверо сели за стол.

Митька плохо понимал, что происходит, но успел прихватить с собой кубики для зерни и вертел их в пальцах, чтобы не заснуть.

– Вот что я во всем этом вижу, – сказал Чекмай. – Настасья Деревниных не знала, куда подевался Гаврила, и когда старый Деревнин поехал на поиски – тоже еще не знала. Он же ей велел, взяв дочек, переселяться к Анисимову, благо каптана подана и кучер ждет. Ослушаться она не могла, поехала к Артемию Кузьмичу и его женке, приехала – и вот именно там ей сказали, что наш Гаврила отправился в Холмогоры... но зачем?..

И тут Чекмай охнул – вспомнил разговор с Теренком.

Понемногу в голове выстраивалось то вранье, которым попотчевали Настасью.

– Так! Ей сказали, что он боялся наказания от деда и, как иные вологодские парнишки, поехал с обозом – авось его, знающего грамоте, кто-нибудь там, в Холмогорах, пригreet, или же померещилось ему, что может стать мореходом. Когда отрок живет при таком деде и света белого не видит, диво еще, что не собрался в Персию бежать. А зачем бы ей это сказали?

– Успокоить желали, – ответила Чекмаю Ульянушка.

– Успокоить до поры, – добавил Глеб. – О том, что Гаврюшка жив остался, знаем только мы. А все прочие...

– Прочие знают лишь то, что пропал, – заметил Митька, бросил кубики и получил три белых квадрата и три черных; зернь, стало быть, подсказала, что дельце очень сомнительное.

– Кроме того, кто его в прорубь сунул, и того, кто этому злодею приказал порешить Гаврилу.

– И все равно непонятно – за что?

– Если в это дело замешался Анисимов – статочно, решил, будто Гаврила что-то лишнее узнал. А что он мог узнать по дороге в Вологду?

По-всякому они вчетвером судили да рядили, наконец додумались: возможно, дело не столько в несмышленном Гаврюшке, сколько в его суровом деде, который был подьячим Старого Земского двора.

– Стало быть, Деревнина выманили на розыски внука? Похоже на то, – сказал Чекмай. – Что же он такое мог узнать? И не знает ли это Настасья? Коли знает – ее жизнь в опасности.

Митька бросил свои кубики.

– Царь небесный, впервые такое вижу! Вся шестерка – черные!

– Не к добру, – согласился Чекмай.

– Не к добру, – подтвердил и Глеб. – Да только что ты сейчас, среди ночи, можешь сделать? Ложись-ка ты, брат, спать, утро вечера мудренее. Пойдем, Ульянушка.

– А если тебе охота до утра за столом сидеть и голову ломать, то на здоровье. Только свечку, Христа ради, погаси, не то натворишь беды, – попросила Ульянушка.

Муж и жена ушли за занавеску. Митька улегся на своих войлоках и долго вертелся, стараясь и на плечи тулуп натянуть, и босые ноги укрыть.

Чекмай же взял с Глебова стола образок святого Димитрия Солунского.

– Пресвятой угодниче Божий Димитрий, моли Бога о нас, – сказал он. Так следовало начинать всякий разговор со святым угодником, а дальше – можно и своими словами, не акафист же читать – он длинный, всего не упомнишь, и неведомый инок, его в давние времена составивший, не мог предвидеть, для чего будет обращаться к святому раб Божий по прозванию Чекмай, имя же его Господь ведает.

Для Чекмая же прекрасный кудрявый воин с тонким копьём был сейчас гонцом, посланцем, потому что иначе передать свои мысли и свою тревогу он не мог.

– Как-то он там? – спросил святого угодника Чекмай. – У воеводской избы таких врак наслушаешься... Но в мертвых не числят. Сказывали – ранен. Как оно все неладно: он – там, а я, вишь, здесь, он там кровь проливает, а я здесь ношусь, как угорелый, пытаюсь понять, кто из московских бояр подкуплен проклятыми англичанами. Знают это купцы, знают – да мне не скажут. И кто из купцов заварил эту кашу – тоже неясно. Анисимов – да, без него не обошлось, но есть и другие. Ульянов со своими – непременно в деле. И теперь, когда ляпуновское ополчение мало чего добилось, как исхитриться, чтобы не собралось вдруг вологодское ополчение на английские деньги? От такого войска жди беды... Кто, кто из Кремля на их стороне? А, пресвятой угодниче Божий? Кто?

Чекмай помолчал.

– Исцели его, святой Димитрий. Ты его покровитель небесный – исцели! Он нам нужен. Коли не он – совсем плохо будет... Второго такого воеводы у нас нет...

Святой молчал.

– Жив ли?..

И тут ответа не было. Сперва не было. А потом Чекмай вдруг словно бы услышал, и даже не слова услышал, а нечто вроде дуновения ветерка, несущего смысл: изранен, но жив...

Чекмай перекрестился.

– Стало быть, продолжается мое сражение, Господи...

С тем он и лег на лавку. Господь был милостив – сразу послал крепкий и хороший сон.

Утром Чекмая разбудил Митька.

– Вставай, вот-вот у Ульянушки каша поспеет. А пока – не сразимся ли в тавлеи? А?

Митенькина страсть к играм была причиной того, что он, дожив до сорока почти лет, ходил неженатый и не знал толком никакого ремесла. То есть мог помогать Глебу, поскольку имел дело с деревом и наловчился резать по нему нужные для иконных рам узоры, но заниматься этим постоянно был неспособен, ему все казалось, что крадет время у любимых шахмат. Умел он и за конями ходить, опять же – кто возьмет в конюхи человека, у которого зернь да кости на уме? Было однажды – нанялся к боярину, да всю дворню и совратил: обучил игре в тавлеи, нашел себе достойных поединщиков, две седмицы был счастлив неимоверно, потом приказчики донесли боярину, и Митьку погнали взащей.

– Давай, что ли, – согласился Чекмай.



Митька был ему нужен. Этот чудаковатый человек был вхож в купеческие дома, где ценили его искусство шахматной игры, хотя и ставили немногим выше скомороха или бахаря, из тех, что нанимаются на зиму тешить сказками хозяина с дворней.

Проведя день за игрой, досыта накормленный Митька рассказывал Чекмаю, кто из знакомцев к купцу приезжал да о чем шел разговор. Любимцем Митькиным был Белоусов, который по причине старости отошел от дел, жил при старшем сыне на покое, а навещали его такие же седобородые старцы. Митька любил с ним сразиться и за сложной красивой игрой забывал обо всем на свете. Белоусов же давал ему порой деньги, которые Митька, не будучи жадным, тут же передавал Ульянушке на хозяйство, и случались дни, когда только с этих странных заработков, похожих на подачки, все кормились. Было это, правда, до того как в Вологде появился дед Чекмай.

Чекмай прибыл с обозом из Нижнего, привез кису с рублями, мог бы и свой двор купить – за двенадцать рублей, а если хорошо поторговаться, то и за одиннадцать можно было взять в Верхнем или Нижнем посаде справный дворишко – избу со всем нутром, при ней и сеник на подклете, и амбар, и мыльня, и даже огород. Но это означало: нужно нанимать бабу – вести хозяйство, нужно заводить кобеля, чтобы по двору бегал, нужно купить кучу всякого добра, без которого жить никак нельзя. Чекмай к тому же знал, что деньги ему даны для других дел. Он поселился у Глеба, которого знал уже немало лет, съездил с Ульянушкой на торг, взял припасов – едва мешки и лукошки в сани поместились. И потом постоянно давал Ульянушке то несколько алтын, то и целую полтину. Она же стирала его рубахи и порты. Бывало, что не сама несла их полоскать на реку, а давала две деньги соседке – а та и рада.

Тогда-то, в первую седмицу после приезда, Чекмай познакомился с Митькой, который, балуясь, прозвал его дедом за седую гриву. И так получилось, что трое мужчин стали друзьями, ну а Ульянушка – как положено хорошей жене, мужниных друзей привечала.

– Вставай, Гаврюша! – Ульянушка похлопала спящего по плечу. – Вставай, тебе говорят! А то я тебя знаю – сядешь впопыхах за стол, лба не перекрестив!

Ульянушка не была избыточно богомольна, но, когда муж вычитывает утреннее правило, – нужно присоединиться. Глеб же это правило вычитывал когда как: было время – так полностью, а звала душа скорее взяться за работу, так сокращал до разумных пределов.

– Встаю, встаю... – пробормотал Гаврюшка.

Наконец все пятеро, помолясь, сели за стол – а тут на двор заявился гость и бухнул кулаком в дверь. Кулак у него, невзирая на юные годы, был уже пудовый. Митька пошел отворять и впустил Теренка.

– Хлеб-соль! – воскликнул парень и перекрестился на образа.

– Хлеба кушать, – чинно ответила хозяйка. Слава богу, было теперь в избе чем угостить даже семнадцатилетнего обжору.

– Я что разведал! – первым делом объявил Теренко. – Батюшка отец Памфил лошадь с санями у извозчика Еремея взял, хорошо заплатил! Сам – вожжи в руки, и укатил!

Конечно же, не Теренко это разведал, а то ли Архиповна, то ли кума Наталья. Его лишь прислали с известием. Но как не похвалиться?..

– Куда укатил?

– Не сказался!

Тем не менее Чекмай сразу сообразил, кто ему может помочь в розыске. Извозчики! Их в Вологде не так много, как на Москве, и они не только друг дружку знают – они и всех лошадей, занятых в этом промысле, знают. По крайней мере, должны знать.

Просить о помощи Теренка он не мог – парень молод, примется за дело яростно и перепугает извозчиков. А вот Митенька бы справился.

Но Митенька совершенно не желал выходить из Глебовой избы на мороз. Поев и пристроившись так, чтобы свет из слюдяного окошка, падавший на край стола, помогал ему, Митька взялся резать из липовых чурбачков кубики для игры в зернь. Хотя ее, игру, и запрещают, но кто собирается в путь – плевал на такие запреты, ему бы в дороге время привалов скоротать. Так что Митька замыслил наготовить кубиков, выкрашенных в черный и в белый цвет, на продажу. Мужики, уходившие на север с обозами, вскоре охотно бы их раскупили.

Еще он замыслил изготовить на продажу тавлеи – игру более разумную, чем зернь, хоть и не такую тонкую и мудреную, как шахматы. Тут можно было хорошо заработать – если сперва вложить деньги в покупку рыбьего зуба, необходимого для «князя» и «дружины». Доску с клетками рыбьим зубом украшать необязательно, а вот фигурки должны быть знатные. У Митьки имелось два набора, и один он решил взять в качестве образца.

Но рыбий зуб дорог... разве что уговориться с кем-то, уходящим к Архангельскому острогу, чтобы выменять его у поморов... а на что?..

В голове у Митьки сложился обмен: в остроге богомазов нет, а образа нужны, значит, можно взять образа у Глеба; но Глеб захочет за них плату, платить нечем, можно отработать; руки у Митьки ловкие и нужным концом вставлены, отчего бы наконец не изготовить доски и рамы для Глебовых образов? А дерево можно взять у судовых плотников, которые в Вологде сидят вдоль всей реки, потому что городу нужны струги и насады, большие плоскодонные суда, с осадкой менее двух аршин, построенные без единого железного гвоздя. Они хороши для доставки вологодских товаров к морю, обратно же купцы везут соль-морянку из варниц, стоящих на морском берегу, и то, что выменяно у самоедов; придут английские суда – стало быть, и тот товар, что на них прибывает.

Человеку, который полон таких великих помыслов, вовсе не хочется запихивать ноги в сапоги, облачаться в тулуп, нахлобучивать на буйную гриву войлочный колпак и плестись на поиски пьяных извозчиков – ибо вряд ли в Светлую седмицу найдешь хоть одного трезвого. Но с Чекмаем и с Глебом особо не поспоришь, да еще Ульянушка, всегда бывшая заступницей, подлила масла в огонь: Митенька, вишь, по всей избе стружки раскидал.

Но Митька ухитрился прихватить с собой игральные кости – глядишь, и найдется человек, который позовет к себе, чтобы вдоволь наиграться.

Пропадал он до темноты, поскольку такой человек нашелся, да еще родственника позвал. И, понимая, что придется держать ответ перед Глебом и перед Чекмаем, Митька наудалую спросил про извозчиков: где в такое время можно отыскать хоть одного.

– Так я ж и есть извозчик! – сказал родственник любителя костей. – Лошадь с санями у меня взяли на время и денег дали, вот я в Светлую седмицу и живу по-человечески, никуда не бегу, отдыхаю, как от Бога велено!

– Так ты и есть тот самый Еремей? – удивился Митька. – Ишь ты!

За такое совпадение не грех было и выпить. А потом новоявленные приятели поплелись к Еремею в гости. Один толковал про конские стати, другой – про хитрые шахматные ходы, при этом оба друг дружку прекрасно понимали и были очень довольны.

Встретила их Еремеева жена и, невзирая на светлый праздник, изругала мужа на чем свет стоит: он-де доверил лошадь незнамо кому, и истинно Божье чудо, что она, кормилица, незнамо откуда сама домой пришла и сани притащила; а кабы встретился ей вор, прощелыга, шпынь ненадобный?

Митька, хоть и был в подпитии, понял: дело такое, что лучше бы сбегать за Чекмаем.

Чекмай расспросил извозчика Еремея и убедился: лошадь с санями точно наняли подьячий Деревнин и отец Памфил. Еремей знал старого батюшку, потому и доверил лошадь, а насчет подьячего – запомнил, что звали Иваном Андреичем.

– Стало быть, лошадка пришла, и шла она, поди, шагом... – задумчиво сказал Чекмай. – Туда, неведомо куда, бежала, там попа с подьячим потеряла и возвращалась шагом. Вот и гадай

теперь, далеко ли они от Вологды забежали... И, главное, в какую сторону... И кой бес их туда понес?.. Пошли, Митя. Наигрался, будет. А ты, брат Еремей, коли вдруг что узнаешь – я стою у Глеба-богомаза в Заречье, там всякий избу укажет. Стой, куда! Вот тебе деньга, с утра первым делом поезжай к Варлаамовскому храму, сыщи попа Амвросия, передай – чтобы никому не сказывал, что парнишка остался жив.

– Какой парнишка? – удивился Еремей.

– Он знает – какой. Передай – я сам к нему приду потолковать.

– Да кто – «я сам»?

– Мое прозвание – Чекмай.

– Не православное оно какое-то...

– Сам знаю.

Потом Чекмай ушел в Насон-город – узнавать новости.

И они были – еще один человек из Ярославля явился.

Мужчины всех сословий окружили воеводскую избу, требовали, чтобы воевода поделился вестями – каковы бы они ни были. Наконец на крыльцо вышел дьяк Роман Воронов и велел всем угомониться. Послушались не сразу. Дьяк махнул рукой и ушел в избу. Когда вышел вдругорядь, да еще с ним – гонец, толпа притихла.

Чекмай, которого силушкой Бог не обделил, сумел пробиться поближе к крыльцу.

– Плохи в Москве дела, люди вологодские! – сообщил дьяк. – Вести пришли такие – доподлинно Москва горела. И много домов и улиц выгорело. Ратники, что пришли с нашими воеводами стать за веру и за Московское государство, честно бились. Московские жители, видя, что к ним идут на подмогу, взбунтовались против ненавистных поляков. Да, сдается, раньше времени взбунтовались...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.